

Светлана Метелёва
Чернокнижник



Светлана Метелёва

Чернокнижник

«Издательские решения»

Метелёва С.

Чернокнижник / С. Метелёва — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-838525-4

Когда аферист Борис Горелов начинал воровать книги из библиотеки Института марксизма-ленинизма, он не знал, чем обернется для него «кража века». Когда гуманист Томас Мор пытался скрыться от мирских соблазнов в картезианском монастыре, он вряд ли догадывался, что это перевернет его жизнь. В какой точке соприкоснулись две судьбы? Почему вора по кличке Чернокнижник преследуют видения 16 века? Время сворачивается кольцами, в последнем предсмертном вздохе сливаются воедино Комментатор и Автор. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-838525-4

© Метелёва С.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Часть первая	7
Глава 1. Фатальная неосторожность	7
Глава 2. Загадка	14
Глава 3. Предательство	23
Глава 4. Борьба против бога	30
Глава 5. Бунт	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Чернокнижник

Светлана Метелёва

© Светлана Метелёва, 2023

ISBN 978-5-4483-8525-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Из статьи литературного критика Галины Юзефович:

«Роман относится к категории настоящей, профессиональной литературы, написанной одновременно очень осознанно и рефлексивно – что называется «от головы» и вместе с тем совершенно по-честному, без прагматичного (и почти всегда бесплодного) заигрывания с читателем. Название наводит на мысли о фэнтези, но это не так: «Чернокнижник» – это одновременно и история про 90-е годы в духе «Журавлей и карликов» Леонида Юзефовича или «Крепости сомнения» Антона Уткина, и классический сюжет о «проклятой книге» с историческими интерлюдиями, и угарный наркоманский галлюциноз. Конечно же, роман Метелевой насквозь литературоцентричен – в качестве субстрата в нем сквозит не только «Имя Розы» Умберто Эко, не только вся отечественная литература о 90-х, но и плутовской роман, и психоделические опыты в духе Хантера Томпсона, и черт знает что еще... Однако вечная спутница подобной «литературности» – предсказуемость – «Чернокнижнику», в общем, не присуща. Автор ловко закладывает петли, то пугая читателя чертовщиной, то успокаивая полным ее разоблачением, то царапая реалиями «лихих 90-х», то поглаживая книжными аллюзиями. Даже финальное чуть слащавое умиротворение (уфф, все, наигрались – пора и на хэппи-энд выходить) на поверку оказывается обманкой – обещанием, которому не суждено сбыться, колкой насмешкой над читательскими ожиданиями.

«Чернокнижник» даст сто очков форы половине романов из шорт-листа премии «Русский Букер».

<https://meduza.io/feature/2016/10/08/knigi-kotorye-vy-bez-nas-ne-naydete>

Пролог

...Умер я в конце октября, в палате одной из московских больниц. Последние жизненные судороги почти сутки терзали догорающее тело. Словно что-то суетилось внутри меня, металось и вздрагивало, вспышками боли напоминая, что еще не конец. Я все время пытался пристроить на больничной койке руки и ноги, но никак не мог; неудобно было лежать смиренно, ворочаться еще неудобнее, словно суставы и сочленения не находили больше себе места на этом свете. Ощущение, что тела моего слишком много, преследовало меня, вторгалось в последние проблески сознания и очень мешало.

Не было в смерти ничего трагического или страшного, а было только омерзительное и отталкивающее. И пока меня выжигало изнутри, я понял всем своим убывающим существом, что не существует никакой духовной гибели, а только одна телесная. А гибель телесная, как и рождение – это боль и смрад, тяжесть земли в воде и содрогания воды в огне.

Театром теней шевелились картины будущего и прошлого – однако будущее уже случилось, а прошлое только должно было наступить. И все время неостановимо говорил голос – вроде бы, мой. Голос рассказывал, объяснял, описывал – разное, на разных языках, но – странно – одними и теми же словами. И это сильнее всего остального мучило меня, заставляло изгибаться и корчиться неуклюжее тело и помертвевшую душу. Страшно мне было то, что не заслужил новых, других, слов, а значит, и новой судьбы. И метался я в одиночной камере своего сердца, спотыкался, гремел цепями и – говорил, говорил, говорил; рассказывал о том, что было со мной и о том, что еще только будет; и жаждал тишины – а ее не было; хотел замолчать – и не мог.

...И по-прежнему пребывало Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...

Часть первая

Глава 1. Фатальная неосторожность

Май 1994 года

... – В начале было Слово и Слово было у Бога...

Странный человечек в длинном и белом с грязными разводами стоял на Арбате, в самом его конце, недалеко от Смоленки. У фонарного столба, за кафедрой, утащенной неизвестно откуда... Перед ним лежала книжка, обернутая в газету, он придерживал ее пальцем, но не заглядывал – шпарил наизусть. Я прислушался.

– Слово ваше да будет с благодатью, приправлено солью. Соль-мудрость и благодать-огонь, а сердце ваше – духовная кухня, и там не место консервам...

Бред. Я постоял рядом еще пару минут. Потом стало скучно – зашагал дальше.

Беззаботные молодые лабухи тарабанили что-то из битлов, худая девчонка в огромных солдатских ботинках, легко улыбаясь, подносила прохожим шапку-ушанку – в ней, как делегаты Коминтерна, собирались валюты разных стран.

Чуть подальше наткнулся на процессию: «Харе Кришна» точно были под кайфом – я-то сразу понял. Звенели браслеты и колокольчики, розовые сари пятном выделялись на общем фоне плащей и ветровок. Приезжие празднующиеся удивлялись появлению такой экзотики, иностранцы удивлялись появлению такой экзотики в Москве, и только привыкшие ко всему москвичи не реагировали, торопясь по своим делам.

Голова кружилась, окружающее заползало внутрь, переполняло. Всякий раз нахожу Москву еще более чудной и сумасшедшей. Вроде и не был – всего ничего, года два. А совсем другой город. У каждой станции метро продают Библию. Читают вслух. Кто-то призывает каяться. Вступать в братство. Отречься от дьявола и его дел. Новая волна, что ли? Все вдруг резко уверовали? Да нет, не похоже...

...Тем майским вечером все началось: я освободился из тюрьмы и шагнул по Москве, улыбаясь воле. Я – ловец фарта, вечный игрок, авантюрист по призванию и по жизни; трижды судим: мошенничество, мошенничество, наркотики. Тезка президента – Борис Николаевич, фамилия Горелов; родился в Харькове, но всем своим прошлым и настоящим связан с Москвой: сюда возвращался и битым псом, и козырным тузом. И в тот раз с легким сердцем и чистой совестью рванул в первопрестольную, радуясь, что перелистнул страницу, где были нары, граждане начальники и хмурые хари сокамерников. Весь этот теплый день гулял я по Москве: Арбат – от Смоленской вниз, к Манежу; мимо Большого театра – к Лубянке; дальше – к Плешке и налево. Солнце жмурилось, жизнь улыбалась. Свернув с Покровки в Лихов переулок, я забрел в какой-то двор. И услышал.

Хаос бьющих звуков, сквозь частокол которых не могла пробиться ни одна мелодия, обрушился сверху. Память услужливо подсунила картину: толстая тетка с белыми волосами выкручивает мои пальцы, пытаюсь «правильно поставить руку» на клавишах аккордеона, а я, сжав зубы, с наслаждением повторяю про себя запретное «с-сука». Всего год я оттрубил в музыкальной школе – до сих пор числю его своим первым сроком.

Я поднял голову, пытаюсь определить – откуда? На мгновение поверил, что —галлюцинация, отрыжка вчерашнего прихода. Но музыка была – из окна второго этажа выплескивалась, как кипяток на кошку. Что? Скрипка. Снова. И еще инструмент. Какой? Не понять. Мелодии нет, гармонии нет, один темный ужас. Метания, боль, отчаяние, глухое и беспросветное – вот что отчетливо слышалось мне. Вздогнул, ошпаренный, потом застыл на несколько минут.

Захотелось запустить в это окно камнем – а может, подняться и узнать, что за пассажир записал нотами бред и тоску, душевную болезнь, наркотическую ломку...

Я и не думал тогда, что адские скрипки пророчили мою собственную, странную и слепую судьбу...

Минуты три стоял остолбенело, потом стряхнул заразу, вспомнил: а ночевать-то мне негде.

Работающий телефон-автомат, большая редкость в эпоху коренных социальных преобразований, с трудом, но нашелся; звонок, другой, третий; знакомые, друзья, бывшие любовницы; варианты нарисовались – только в путь. Можно было пожить у Алика – чеченцы народ гостеприимный, но там и без меня тесно. Поехать к Дарье? Тоже вряд ли: мне отчего-то хотелось побыть одному. Если бы предполагал я тогда, чем обернется то мелкое с виду и по сути решение, остался бы на улице.

Но – выбрал. Пересеклись с Юриком у метро – перекинулись парой фраз – вот ключи, Боря, это мой бывший офис, только позавчера съехали, пока свободно. Ему, как всегда, было некогда: по-быстрому сунул мне сверток «со всем необходимым» – и побежал дальше. А я отправился на улицу Вильгельма Пика, станция метро «Ботанический сад». Вот и он – дом четыре, «помещения под офис», бывший Институт марксизма-ленинизма.

Уже перед самым входом в большое серое, с колоннами, здание, я притормозил, почувствовал ситуацию – пустили жигана в мавзолей пересидеть. Виделась мне в этом какая-то справедливость: двадцать лет назад ленинизм катапультировал меня из кабины честной жизни, а теперь пусть подвинется – я заночую.

А было так: пятый курс Харьковского университета, весна с запахом сирени. Тогда мы собирались в общаге – своя компания, «три тройки», все в дыму; курили до одурения – кто-то «Шипку», девицы – входившие в моду «Родопи» и «Варну». Жаркие поцелуи на кухне – и жаркие беседы о высоком: так было принято – бухать, но интеллектуально, под разговоры. И была моя фраза: если в работе Ленина слова «первичная партийная организация» заменить на «преступное сообщество», а «партийная касса» на «общак», то получится полноценное пособие для воров. Смеялись... Говорят, с последнего курса не выгоняют – ерунда, пинком под зад – за «антиобщественное поведение» под крылышко к дяде Паше-соседу. А он был – вор, даже не так – Вор; его весь район знал, уважал и боялся.

Как сейчас слышал я его голос – усталый, хрипловатый: «экспроприациями, Боренька, занимаются пролетарий и колхозник. Вор берет потому, что он этого хочет. Настоящий вор не возьмет последнее». Рассказывал: в войну хлебные карточки крали не воры, а порядочные граждане – по причине голодного желудка, потому что «сознание, Боря, царствует, но не управляет». Управляет стая, она и защищает, но у воров – не ограничивает. И общак не партийная касса, потому как не уходит в партийные распределители... Топорщились седые усы; над впалыми щеками, вокруг глаз, расходились глубокие морщины. Взгляд у него был глубокий, цепкий – зла не было, но и доброты не наблюдалось; одно спокойствие. Даже грозил и наказывал он, не меняясь в лице – но это увидел я гораздо позже. И – не боялся. Ни сесть, ни потерять – ничего не боялся. А еще – любил повторять время от времени: если бы богатые могли нанимать нищих умирать за них, нищие хорошо бы зарабатывали...

Дальше – как положено: засосала опасная тряпина. Но – пусть, я себя не жалел; я был одиночкой; к стаду не прибился – и славно.

Сумрак в коридорах, кабинеты заперты – рабочий день давно закончился. Не считая охранника, на этаже никого. В общем, устроился уютно – на забытом диване в пустой комнате, укрывшись пальто. Лежал, курил, думал. Все пытался поймать за хвост странную закономерность – ту волну, что накатывала и бросала меня на густо заселенную тварями землю, чтобы я – неумелый пловец – всякий раз ломал доску-жизнь и тонул в прибрежном дерьме. Не сказать, что был неудачником – нет; и карта, бывало, шла, и фишка ложилась, как надо, – только

вот финал всегда был одинаков: стоять, руки за голову. Сначала – как у всех: вы арестованы. Это потом уж примелькалась операм моя рожа, стали узнавать, обращаться по имени – зауважали. Тоже нюанс, очень, кстати, интересный: никогда не помогал следствию, а сроки получал минимальные. Может, не так все и глухо? Может, хранит меня судьба – в тех пределах, что я ей обозначил? А если бы выбрал я другую дорогу – она бы тоже хранила? Только по-другому, но тогда – как? Вопросов накопилось слишком много, искать ответы на сухую было бессмысленно; я затушил сигарету и уснул.

Встал наутро с тяжелой головой и плохим настроением – всю ночь за мной гонялся троллейбус. Снилось, что я в инвалидной почему-то коляске пытаюсь от него уехать – и никак: вот он, все ближе и ближе, и ни одного переулочка рядом.

Умылся в туалете на этаже, набрал в чайник воду, на обратном пути заметил: несколько кабинетов открыты – все, закипела работа в стране дураков. На всякий случай поздоровался со встреченной в коридоре уборщицей; она не ответила, глянула злобно. Сразу понял: отсюда жди неприятностей; тут же себе возразил – да и черт с ней. Все равно оставаться тут надолго резона нет.

После завтрака – хлеб, шпроты, чай – стало веселее; захотелось позволить себе то, чего давно уже было нельзя: поваляться с книгой и сигаретой. Достал коричневый с золотыми буквами томик – фантастика; расположился читать – в далеком будущем полиция сжигает книги, а книголюбы уходят в партизаны.

И тут в дверь постучали – негромко, интеллигентно, но настойчиво. Я крикнул: «Войдите!», вскочил с дивана. Дверь открылась, навстречу мне шагнул невысокий полноватый мужчина: высокий лоб, благородные седины, два подбородка, прикрытые прищуром глаза. Гораздо позже, общаясь с ним регулярно, стал я замечать во взгляде хитрость и лицемерие – точно грязное дно вылезало; тогда же увидел только умного и наверняка образованного человека, похоже, из номенклатуры. Он поздоровался:

– Здравствуйте. Президент Илионского фонда Константин Киприадис. Мой офис напротив. А вы – новый арендатор? Юрий, насколько мне известно, съехал...

Я стараюсь не врать без необходимости – а тут бояться и стесняться мне было нечего, поэтому ответил честно:

– А я его друг. В смысле – Юрия. Мне ночевать негде, так что он дал мне ключи, пустил сюда. А зовут меня Горелов, Борис Николаевич, – и я протянул ему руку. Про себя заинтересовался – ответит ли президент рукопожатием бомжу. Ответил. Но как-то машинально, думал же о чем-то своем. Глянул вдруг на мою книжку, зачем-то спросил:

– Это вы Брэдбери читаете? И что же – нравится?

Я слегка удивился, но ответил:

– Да ничего так... Идея неплохая.

– Это – какая же? Книги сжигать? – спросил президент.

Тут я на минуту запнулся, потом вспомнил вчерашнего арбатского святошу и бросился объяснять:

– Ведь вначале было слово – так? Все начинается с книг. Они поселяются в умах, начинают прорасти изнутри, и, в конце концов, воплощаются человеческими действиями. А если посмотреть на результат – очевидно ведь, что ничего хорошего это слово и эти книги не принесли. Так что – сжигать однозначно...

– Мысль интересная, слов нет, – оживился президент, кивнул одобрительно. – Однако, к сожалению, не новая. Был, знаете, такой император в Китае – Шихуанди; прославился постройкой Великой стены и сожжением всех книг, что были до него. Может, и он пытался таким вот образом уничтожить...

– Во! – этот факт меня почему-то ужасно возбудил, – во-во! Надо исключить провокацию. Стереть память, уничтожить образец, убить прошлое, и тогда люди смогут начать с чистого

листа... На свободу – с чистой совестью... Я уверен, – добавил я в порыве вдохновения, – что он и стену построил затем, чтобы в Китай не попали новые книги.

Президент хмыкнул – то ли сомневаясь, то ли соглашаясь. Спросил вдруг:

– А вы, Борис Николаевич, кто и откуда, уж простите за нескромность? Чем занимаетесь?

Я и тут не стал темнить, сказал вежливо:

– А заниматься мне пока нечем – я, видите ли, несколько дней назад освобожден из мест лишения свободы. Сейчас, так сказать, в поиске.

Глаза его изменились – но не так, как я ждал: в них не появилось ни страха, ни безразличности, ни даже жалости; ничего привычного не мелькнуло. Взгляд стал цепким, исчезла профессорская рассеянность.

– А за что сидели, если не секрет, конечно?

Маленький, едва заметный шаг он сделал ко мне – ему, действительно, хотелось знать. И я рассказал – вкратце, без уточняющих деталей. А потом он спросил еще – кажется, что я делал до зоны, где учился, откуда сам.

Очень уже давно не задавали мне таких вопросов просто так, по-человечески, из любопытства. Кому надо – и так знали. А спрашивали чаще всего люди в форме, заполняя протокол. В общем, я стал рассказывать. Не то что «Остапа несло» – просто вдруг захотелось.

Кивок. Другой. Промельк понимания. Взгляд, еще. Я говорил. Он слушал. Я жестикулировал, ходил по комнате, повышал голос. Он стоял прямо, потом присел на стул; молчал. Что-то устанавливалось, прорастало; словно щупальцами тянулся ко мне его интерес, а мои фразы цеплялись за пестрый пиджак и дорогие запонки, за странную греческую фамилию и сжатые тонкие губы. А интерес был – я это ощущал, слышал – он бился и нарастал, словно тяжелая кровь внутри исколотой вены. Помню еще, как в разгар моего повествования закрипела дверь – но никто не вошел; сквозняк, наверное, – ничего, я прикрою. Он встал, закрыл дверь и – опять вдруг – задал вопрос:

– Скажите, Борис, вам ведь нужна работа?

Работа? Мне? Не факт. Мне нужна была цель – это да, это требовалось незамедлительно. Что же до ляжки... С другой стороны, – быстро рассудил я, – это ведь на время, что бы он ни предложил – уборщиком, курьером, грузчиком. Почему нет? Жить-то по-прежнему было негде – и черт его знает, когда нарисуется новый в судьбе поворот; я рискнул:

– Нужна. А вы хотите мне что-то предложить?

– Почему бы нет? В наш фонд пойдете работать?

– Кем? И что делать, какие обязанности?

– Ну, кем – это мы решим; если для вас важна должность, придумаем. А обязанности... Разные. По сути, будете моим референтом. Заместителем, так сказать.

Вот это да! Я чуть было вслух не сказал: вот это да! Удержался, спросил только: за что, мол, такое доверие?

– Вы мне нравитесь, – просто ответил президент.

Выйти на новую работу я должен был через два дня. Договорились еще, что до аванса жить я буду пока здесь же.

...Почти весь оставшийся день гонял я в голове – туда-обратно – непонятный наш разговор. Придумывал зачем-то другие ответы, прикидывал – а что бы на это сказал мне странный президент; разбирал малейшие его интонации, оттенки мимики, изо всех сил своих пытаюсь отыскать отгадку. По странной какой-то ассоциации вспоминался студенческий мой дружок, Сенька. Он был при мне этаким Санчо: непрерывно восхищался, ходил следом, как собачка, стоял за меня в очереди в столовку, писал вместо меня лекции; однажды даже пиджак почистил накануне свидания. Этот пиджак, купленный задорого с рук у какого-то спекулянта, я ему же потом и отдал.

Да, тогда, в двадцать лет, за мной можно было ходить. Можно было восхищаться. Еще бы – Борик Горелов! Отличник, твою мать, любимец преподав. И при том, что гулял я жестко – помню, в течение семестра пропустил все лекции по научному коммунизму. Давалось все слишком легко. Шел, смеялся, по жизни. Рутинка, зубрежка, конспекты, нечего жрать и негде побыть с девушкой – это у других. У меня все было иначе. Схватывал на лету, соображал моментально, вечерами и ночами – своя компания, покер на деньги. Лавэ были – и вслед за ними шмотки, рестораны, дамы... Желанный гость в любой компании... Ницше цитировал... Про сверхчеловека, как сейчас помню... А бараны, замерев, слушали. Некоторые пробовали спорить – но я выходил победителем. Я знал, что нужно для этого: в самый напряженный момент как бы невзначай бросить фразочку пообиднее, позлее... Противник теряется, запинаясь, мямлит, а ты – на коне... Заходил в аудиторию – вся группа оборачивалась. Все здоровались... Зато после того, как выперли, ни один в гости не заглянул, не спросил, как мол, Боря, дела у тебя... Даже Сенька-пиджачник... Дядя Паша, кстати, уверял потом, что именно Сенька меня заложил. По-любому, говорил, – больше некому. Но я не верил. Да и сейчас не верю: слишком трусливым он был, мой неверный оруженосец. А кто заложил – неважно. Судьба такая. Точно так же когда-то повязали моего деда: трое суток просидел в НКВД, в предварительке, пока они разбирались, почему это Борис Горелов махнул рукой на фамилию товарища Сталина. Да-да, именно так – мне мать рассказывала. Вроде как в своем кругу обсуждали, кто-то вспомнил Сталина, а дед возьми да махни рукой в неположенное время. Его, правда, отпустили. А через неделю – инфаркт. Потом – инвалидность. Без работы он долго так и не протянул; сдал – умер. Я почти и не знал его...

Я помотал головой, отгоняя лишнее. К чему сейчас все эти дела? О другом надо. Президент. Киприадис.

Внимание такого человека (почему-то сразу уверил я себя в том, что он человек необычный и преуспевающий) страшно льстило; казалось, непременно должен был появиться в моей жизни кто-то именно такой – могущественный, сильный, умный – и способный, наконец, оценить меня по достоинству. Уверенным маршевым ритмом отбивалось внутри: разглядел! Понял! Признал! Дрожью в кончики пальцев кинулась лихорадочная жажда деятельности: доказать, что не зря, что он не ошибся во мне, – короче, горы свернуть прямо сейчас. Пару раз, правда, попыталось сунуться в мозг змеиным жалом сомнение; зашипело: не верь; что-то не так; не к добру. Я мысленно отбросил пресмыкающееся, задушил обеими руками.

Вдруг показалось, что кто-то наблюдает за мной из черного коридора; я обернулся в чуть приоткрытую дверь. На миг глянула на меня скалящаяся физиономия и пропала. Я бросился к двери, распахнул ее – нет, никого. Вернулся, закрылся на ключ, попытался закурить. Сигарета выпала и укатилась под стол. И я почувствовал – не то что страх; какое-то беспокойное раздражение. Необъяснимое – такое же, как и все, что случилось со мной меньше, чем за сутки...

И тут осенило. Конечно, так и есть! Всякий раз после винта бывает и сумрачно, и тяжело. Ничего сверхъестественного. Я однажды прочитал в какой-то статье про «фантомные боли» – так это они! Укола не было, а отходняк был. Повеселел – надо было лечить подобное подобным.

Поехать к Алику – там совершенно точно есть все составляющие, а за недостающими можно послать его сына или жену. Но у Алика варить придется самому – а мне почему-то не хотелось. Стало быть – к Татке Апрельской, если, конечно, ее не закрыли.

Апрельская – это фамилия; а Татка Апрельская – это целое благотворительное учреждение: парикмахер, психолог и варщица, и не какая-нибудь, а одна из лучших. Татка – долговязая, немного нескладная и худая (это уж как водится; упитанных винтовых не бывает) – была интеллигентной эстеткой: варились все в специальной посуде – «от бабушки досталась», – без тени иронии говорила Татка; готовые кристаллики выкладывались на папиросную бумагу.

Говорила она не умолкая, и всегда чуть свысока, растягивая слова по-московски; как правило, – о себе, о своих «клиентах», среди которых числился чуть ли не весь столичный

«бомонд» – это тоже было ее словечко, я долго не мог просечь, что оно означает, пока она не объяснила с видом утомленного превосходства.

Достал пухлую записную книгу – у каждого наркомана такая есть; нашел номер, позвонил. Татка была дома, моему звонку не удивилась. Рванул на Арбат, там она жила, в старой пятиэтажке на Большом Власьевском – квартира, как и посуда, тоже была бабушкина. Старушка давно умерла, а Татка превратила двенадцатиметровую кухню с высокими потолками в винтоварню.

Ждать не пришлось – продукт был готов. Татка быстро, по-деловому перетянула предплечье, нащупала вену. Поршень опустился – вжжик; под языком приятно и привычно таяла дыня – господи, как же давно не ощущал я такого прихода!

– Ну, как? Нормально? – небрежно поинтересовалась Татка.

– Ага. Более чем. Ничего, если минут десять посижу у тебя? Никого не ждешь?

– Да нет, сегодня выходной, – отозвалась она. – Вчера Ваньку Глазунова стригла. И то ему не вполне, и это не совсем. Притомил. Эстеты хреновы. Все знают, как надо, все учат. Боря, ну как так? Вот я, допустим, в театр иду, в Ленком, к примеру, – не прерываю же спектакль, не кричу с места Коле Караченцову: мол, не ту ноту взял... А они – легко. Каждый так и норовит свои пять копеек вставить...

Я усмехнулся – все эти «Коли Караченцовы» и «Ваньки Глазуновы» давно знакомы – нормальные московские понты. Спросил только:

– Тат, а он разве Ванька? У него же, по-моему, другое какое-то имя?

– Боря, Ванька – это сын Ильи Глазунова. Тоже художник. А вчера еще Виталий приезжал. Ну, помнишь, я тебе рассказывала... Скрипач. Лауреат международного конкурса, между прочим. Ты прикинь – привез мне свою бабу стричь. Где он ее нашел, в каком Зажопинске?

– Что – так плохо?

– Да ну, Борь, лимита. Зеленая кофта, красная юбка...

– Тат, я, если забыла, тоже не москвич...

– Ой, да ладно тебе, Горелов. Ты – гражданин мира. У тебя, слава богу, этой провинциальной ограниченности в помине нет. За что и ценю... Ты, кстати, скажи – сейчас-то как? Чем жить собираешься?

– Как фишка ляжет, Тат. Ты же знаешь – я не загадываю.

Я прикрыл глаза – вроде как не настроен больше общаться. Татка замолчала – очень понятливая дама. И – хорошо...

Яркие пятна заполнили пространство под зрачками: багровые, сливовые, вишневые – переливались они и выплескивались из глаз, заполняли квартиру, подъезд, улицу и город целиком.

Пережив первые минуты у Татки, я вышел на улицу.

Сразу понял: что-то не так. По ощущениям, должен быть день. Над Арбатом же сгустились сумерки. Я поднял голову, увидел стремительно несущиеся друг на друга темные облака: небо опускалось, приближалось, светлый край его становился все меньше, тьма неудержимо и безоглядно падала вниз, на меня. Дикая радость охватила внутренности, я раскинул руки – и пальцы удлинились, натянулись перепонки, крыльями распластались рукава черного пальто. Тьма накрывала, ветер подхватывал; прикасаясь ко мне, становился ураганом, вырастал черной воронкой над головой, засасывал внутрь моего мозга прошлое и будущее, стискивал и мял пространство. Время потеряло звук: немота поглощала меня – не мертвое молчание, а – пустое; беззвучный крик, разрывающий слух. И вдруг – ликование обернулось ужасом, сжало горло; тьма стала густой и ворсистой, дотрагивалась до меня своим копошением, залезала в рот, в нос, в уши; давила меня, схлопывалась черной дырой. Я кричал – но звука все не было, пытался оттолкнуть шевелящийся рой, но только глубже в нем увязал; падал, проваливался в черноту и видел белую вспышку, слепнул от страшного сияния – еще больше, чем тьма, оно пугало –

и пытался расцарапать свою грудь и вырвать сердце, чтобы прекратить нескончаемый этот кошмар. И тут откровением развернулось внутри: меня нет. В спирали времен потерялось «Я». Борис Горелов, авантюрист, трижды судимый, уроженец Харькова – где он? Теперь «Я» стал кто-то другой. Но кто? Мелькнуло в чужой (моей) голове: схожу с ума. И вдруг все заслонили слова – каменно-серые, водянисто-холодные, сладко-разлагающиеся – они были Вселенной, были мной. И рядом с неизбежностью слов съезжались и черные дыры времени, и свернутые миры пространства, и потеря своего сознания; слова разъедали, будто кислота; иглой невыносимой боли проникали в сердце. От ужаса я умер.

...Ожил на Таткиной тахте – колотило меня на все девять баллов; лицо заливал пот, скрюченные пальцы шарили по груди; зубы громко стучали. Окончательно смог прийти в себя только через полчаса; за окном светало, часы показывали пять с четвертью. С помощью Апрельской восстановил хронологию: по ее словам, я вышел из квартиры вечером, часов в одиннадцать; что было потом – она не в курсе; под утро услышала внизу стоны, – я сидел возле скамейки у подъезда, изо всех сил давил кулаками на глаза. Дальнейшее понятно: пожалела, добрая душа, притащила к себе. Рассказал ей свой глюк; она ненадолго задумалась, потом покачала медленно головой:

– Честно, Борь, я о таком еще ни разу не слышала. То, что ты рассказал, обычно не на приходе бывает, а на отходняке. А че хоть за слова-то были? Запомнил?

Слов я не запомнил.

Пора было возвращаться на Вильгельма Пика. Меня ждала новая работа.

Глава 2. Загадка Сентябрь 1994 года

Должность называлась громко: директор дирекции Илионского фонда поддержки русской культуры. Вот так я теперь представлялся и уже подумывал о визитных карточках. Работа же при этом была... да, откровенно говоря – не было никакой почти работы. Я приходил утром, то есть, «приходил» – это уже потом, когда снял, наконец, квартиру; в первый же месяц – поднимался со второго этажа на третий; пил чай, читал газеты, беседовал с Константином Сергеичем – он много знал и хорошо рассказывал. Было ощущение, что в мутном, все сметающем потоке я удачно зацепился за валун, и теперь наблюдаю и греюсь на солнышке.

Почему русскую культуру должен был поддерживать именно Илионский фонд, я так и не понял, но источник доходов просек довольно быстро. Над головой была прочная крыша в лице чиновника, ответственного за оформление российского гражданства; почта Фонда была завалена просьбами о «содействии». Это содействие, с легкостью оказываемое Киприадисом, и приносило деньги – в виде «добровольных пожертвований». Плюс – была недвижимость. Фонду принадлежали чуть ли не все помещения бывшего института. Как случайно обмолвился Киприадис, здесь не обошлось без помощи патриарха. Что президент имел в виду, я понял смутно – кажется, речь шла о том, что православному батюшке удалось склонить «некоторых людей в Кремле» (так говорил Киприадис) на сторону Фонда. Словом, так или иначе, ясно было одно: Фонд платил копейки за аренду здания целиком, а сдавал покабинетно и по рыночной цене.

Схема ничуть меня не удивила – она тогда была везде, была всем, самоутверждалась как альфа и омега жизни по-новому. Укради или достань: по знакомству, на халяву, дешево, бесплатно; потом продай – баснословно дорого, с наваром в двести процентов – меньше не имеет смысла; бери чужое, называй – «мое». И – будет твоим, станет собственностью, прирастет к тебе, как кожа, и уже никто не усомнится в твоём праве. И бывшие парторги и передовики производства, отгородившись от пугливого стадного «нельзя» с его прокисшей моралью, брали, доставали, тащили, крали – кто-то легко и азартно, кто-то – нагло, нахраписто, скотски, чуть что выхватывая «ствол» и смакуя сладкое слово «разборки».

Аутсайдеры, задыхаясь от желчи, гордились непричастностью, вспоминали золотое социалистическое время и Сталина, каждый вечер смотрели и читали непременно все новости, чтобы за ужином, догрызая курицу, злобно подытожить: ворье!

Я пытался определить свое место. Вынесло на берег, прибило – и плыть дальше вроде не хочется. Был поленом, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой...

Вдруг потянуло на другое. Читать, разговаривать, чувствовать себя в теме. Такой вот... отпуск за свой счет. А, может, просто повелся на красивое, гордое, звучное – ре-фе-рент! Помощник президента фонда!

Все люди ведутся на слова. Только не все это понимают. А я понимал: еще бы, после трех-то ходок! Любой нормальный зэк знает, чем может обернуться безответственное отношение к языку: фильтровать базар на зоне – вопрос не филологии, а выживания.

На воле – которая пока оставалась не до конца понятой и освоенной – мне нравилось слушать. Люди говорили много: в телевизоре, в очередях, в метро – говорили по-разному; смачно выплевывали ругательства, лихо сочиняли новояз, оголтело мстили словам за свои несбывшиеся ожидания и скукожившиеся надежды. За три года, что меня здесь не было, демократия превратилась в дерьмократию. А выборы прочно цементировали с вышедшим из подполья на свет божий словом «пидоры»... Вот кто, скажите, пойдет голосовать после этого? В нашей стране у свободного волеизъявления – главного рычага либеральных ценностей – просто не было шансов. Я специально поинтересовался у Киприадиса – он знал английский – как рифмуется это

понятие там, в Америке. Он немного удивился, но ответил – мол, «элекшн» – выборы, рифмуется с «эрекшн»: американцев, англичан и прочих англоговорящих выборы возбуждают.

Я несколько раз пытался поделиться своими наблюдениями – но друзья отмахивались, а то и смеялись. Зря. Я представлял себе картину – я ее, откровенно говоря, почти нарисовал – «Уполномоченный дилер беседует о мерчандайзинге с эксклюзивным дистрибьютером». Картина мне не понравилась – не выражала она той философской напряженности, что я в нее вкладывал. Но название осталось: один мой приятель выучил наизусть и во время глюков над ним думал.

Итак, два с лишним месяца трудился я на благо Илионского фонда. Несколько раз Константин Сергеич давал мне серьезные поручения – собрать гуманитарный груз для наших соотечественников в Абхазии или в Грузии – точно не помню, да и не важно. Я обошел знакомых – и пять грузовиков с едой и одеждой отправились по назначению. Про себя отметил: Киприадис ни разу не спросил, что за люди эти знакомые? На что живут? Откуда у них бабки? Что-то мне подсказывало: мудрый президент просто не желал догадываться. С другой стороны, если у наших соотечественников в Абхазии и правда дела плохи, то им должно быть совершенно фиолетово, кто помогает и из каких средств.

Киприадис частенько закахивал в мой кабинет: говорил со мной ласково и внимательно, давал читать книги. Помню, в одной рассказывалось о мифическом месте, где люди забыли названия вещей и стали крепить к предметам бумажки с напоминанием; потом забывали, что означают напоминания, – и записи приходилось увеличивать. Меня поразила эта история, но не сюжетом, не так уж и редко люди перестают называть вещи своими именами, а наркотическим происхождением. Только и исключительно под кайфом можно было написать такое, и, судя по всему, приход – в той или иной степени – был знаком всем великим писателям. Многие из них и дни свои закончили, как нам, творцам другой реальности, и положено – самоубийством или сумасшествием... Представил себя – вдруг – в Ленинке: в огромном зале – работаю над диссертацией... Тема... Ну, типа так: «Сортовой каннабис и мировая литература»...

Размышления прервал Киприадис. Как всегда, ухожен, хорошая обувь, одеколоном разит избыточно – но в целом приятно. Усмехнулся:

– Ну-ну, Борис Николаевич... Опять – не при делах? Стыдно – с таким-то именем...

– Константин Сергеич, это вы зря, – отозвался я, не вставая – уже виделись сегодня. – С Ельциным мы только зовемся одинаково. А разница между нами – серьезная: он пьет, а я колюсь...

Но он уже отвлекся от проблемы занятости сотрудников – и пошел рассуждать о творческих псевдонимах, о том, как они меняют судьбу. Загнул что-то насчет «влияния имени на личность»...

Я возразил:

– Вряд ли, Константин Сергеич... Вы, к примеру, можете назвать меня не Борей, а Мишей – что изменится? По сути – ничего...

– Это, Боря, Шекспир в свое время уже сказал: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет»...

– Ну, для этого Шекспиром быть не надо. На зоне я по-другому слышал: Иван останется Иваном, хоть долбани его диваном.

Киприадис мелко рассмеялся. Потом добавил, посерьезнев:

– И все-таки, ты знаешь, я склоняюсь к мысли, что все не так просто. Господь не зря потратил целый день только на то, чтобы дать сотворенным существам имена. В первобытных культурах имя считалось священным – где-то свое имя скрывали, чтобы труднее было навести порчу...

– Константин Сергеич, и вы верите во всю эту муть?

Он вздохнул коротко:

– Боря, ну почему сразу «муть»? Вот ты, я знаю, Библию не читал – а ведь на протяжении всей Священной книги Господь ни разу не открывает людям своего имени. И когда Моисей задает прямой вопрос: мол, как к тебе, Боже, обращаться? – то получает странный, как минимум, ответ: я есмь сущий. Что в буквальном переводе звучит так: «я – это я»...

– Свифт, – заметил я.

Киприадис удивился:

– При чем тут Свифт?

– Это он в старости, боясь сойти с ума, повторял все время: «Я – это я». Вроде как напоминал самому себе. Так что, может, и у Бога были те же мотивы? А может, Господа на самом деле звали Джонатан Свифт?

– Богохульник, – погрозил пальцем президент. – На эту тему, между прочим, высказывались многие великие умы. Самое интересное предположение звучало так: слово «Я» может быть произнесено только Богом... Ладно. Если тебя Библия не убеждает, возьмем Тору. Там все имена делятся на три вида: «пустые», «священные» и «запретные». Тоже не просто так...

– Зашибись, – согласился я. – Ну а в Коране – что есть на эту тему?

Киприадис посмотрел на меня сочувственно, но в то же время заинтересованно.

– С логикой, Боря, у тебя все в порядке, – похвалил он. – А вот в знаниях – пробелы. В Коране перечислены девяносто девять имен Аллаха – все не помню, разумеется, но вот некоторые: Милостивый, Милосердный, Отзывающийся, Знающий, Достославный... ну и так далее...

– О-па! Так получается, Константин Сергеич, что мусульманский Бог круче еврейского. Еврейский ни одного своего имени не знает – а мусульманский знает целых девяносто девять. Что, кстати, тоже странно: если Господь Милостивый, он же должен быть и Беспощадным, если – как вы сказали – Отзывающийся? – значит, должен быть и Глухим. Иначе половинчатый какой-то Аллах получается, незавершенный.

– Ох, Боря, что же за голова у тебя... – недовольно протянул Киприадис. Я пожал плечами:

– Голова как голова. Хотите напоследок анекдот в тему расскажу?

– Давай, рассказывай, – обреченно согласился президент.

– Привозят в дурку пациента. Врач спрашивает: Ты у нас кто? Тот ему: Наполеон. Врач говорит: прекрасно, пойдешь в палату к Суворову и Кутузову. Больной в ответ: Нет, доктор, что вы! Мне к ним никак нельзя! Врач: это еще почему? Ну, как же! Они – генералы, а я – торт...

Смеялся он долго...

...Про Свифта я вычитал в одной из местных книжек. Книги здесь были везде – почти во всех кабинетах фонда – в шкафах, стеллажах, а то и на полу. На мой вопрос – откуда? – Киприадис небрежно пожимал плечами: бывшая библиотека института марксизма-ленинизма.

Среди книг, между тем, попадались старые, в кожаных переплетах, со вставками тонкой папиросной бумаги; мелькнула мысль: вырвать и отвезти Татке, она наверняка обрадуется. Не смог. Все-таки детство мое пришлось на социалистическую эпоху, когда за порванную книгу могли исключить из октябрят-пионеров, а уж страшнее этого ничего в жизни не было.

Подозрения относительно Киприадиса, его ко мне интереса и моей работы постепенно развеялись: все шло ровно, зарплату (немаленькую) платили вовремя; иногда, само собой, скупал и подумывал замутировать что-нибудь интересное – но быстро успокаивался. Да и обстановка не располагала; исторические реалии всего месяц назад пополнились арестом Мавроди. Офис его – красивый, на Варшавке, – штурмовал ОМОН. Как раз в середине августа я наткнулся – в самом центре, у Белого дома, – на разъяренную толпу вкладчиков «МММ»; в новостях потом сообщили, что было их около четырех тысяч. Старые знакомые, с которыми я, хоть и нечасто, но виделся, рассказали: семнадцать КАМАЗов для вывоза налички Мавроди, на самом-то деле, выделили в Кремле...

... Однажды в начале сентября я заглянул в кабинет президента – и наткнулся на посетителя. Видимо, это был не случайный человек – к Киприадису он обращался на «ты», тоном фамильярным и слегка начальственным. Как только я приоткрыл дверь, президент замолчал – резко, словно давая понять собеседнику, что при мне продолжать не стоит. И я присмотрелся к новому человеку внимательнее. Был он невысокого роста, с лысиной; хитро блеснул свинячьими глазками, щерился ухмылкой. Внешность добродушного колобка опровергалась, однако, начальственной жесткостью взгляда. На меня он глянул мимоходом, обронил полупрезрительно:

– А-а-а... Директор дирекции...

Я вскинулся было ответить, но Киприадис остановил меня:

– Борис, извини, ты не мог бы зайти попозже? Я сейчас очень занят.

Я кивнул, вышел. Почему-то тон лысого господина, то, как выговорил он название моей должности, чрезвычайно меня задел. Как будто знал он обо мне нечто такое, что позволяло складывать губы в такую вот ухмылку, тянуть это «а-а-а», смотреть, точно снимая мерку. «Директор дирекции», – крутилось в голове; потом откуда-то вылезло и добавилось: «администратор администрации», «руководитель руководства». Работа вдруг потеряла всякий смысл, хоть я и понимал, что глупо так реагировать на случайные слова какого-то мудака. Как говаривал Ильич, жить с Киприадисами и быть свободными от них нельзя...

Президент заглянул ко мне спустя полчаса. Показалось мне – или впрямь в неадеквате? Уж не понизили ли его до охранника? Видно было – старается вести себя, как обычно, но – руки трясутся, глазки бегают, пальцы дрожат, галстук зачем-то поправляет... Боится – кого?

– Э-э-э... Борис... Ты не мог бы сделать для меня большое одолжение? Нужно срочно отвезти вот это, – он извлек откуда-то из-за спины серый сверток, – одному человеку. Сможешь?

Проглотив фразу: конечно, отвезу, я ведь курьер, – кивнул молча головой. Киприадис бережно положил сверток мне на стол, написал адрес – Дом художника на Крымском валу, букинистическая лавка, Владимир Мингярович (удивился, перечитал: вот так отчество. Монгол?). Суется и беспокоясь, излишне подробно рассказал, как найти в ЦДХ эту самую лавку; еще тридцать три раза повторил, что сверток надо беречь – кстати, надо найти сумку – я найду – нет, уж лучше я сам – после чего выбежал и через несколько минут вбежал обратно с черным пакетом в руках. И я поехал на Крымский вал.

Москву захватывала осень. Чахлые пасынки большого города укоризненно желтели листьями; если погода была ветреной, жаловались шорохом ветвей; все же остальное время молчали, прятались за домами. Роли деревьев и птиц брали на себя дома и машины. Все чаще темнели крышами каменные громады; автомобили по утрам просыпались с другим, не летним звуком – заводились не сразу, а после долгого прокашливания, словно старик, поперхнувшийся «Беломором». Мягче ходили по асфальту дворницкие метлы, натываясь на упавшие листья. Вообще в Москве обычно не замечаешь ни времени года, ни природных явлений – такой уж он, мой город; вдруг очнешься, оглянешься – ба! Да ведь уже зима на подходе! Укутаешься потеплей и летишь дальше.

Интересное это место, садик около Дома художника. Много слышал, но бывать до сих пор не приходилось. Справа стояли свезенные сюда ненужные памятники – бесчисленные Ленины и один Держинский. Я заглянул ненадолго – поразился стремлению человечества увековечить свои блуждания непременно в камне – и пошел прочь от свалки использованных образов и устаревших понятий.

Нужный магазин я нашел быстро; «лавка букиниста» было написано косо и почему-то сбоку. Слишком много книг: старинных, больших и маленьких, брошюр, атласов; даже игральные карты здесь были, но не обычные, а с какими-то рисунками – мне бросился в глаза шут,

повешенный за ногу. Пахло странно – маслом? Специями? Цветами? Продавца я не увидел, зато услышал обрывок беседы из крохотной комнаты-подсобки:

... – Вам надо книги писать, – с ласковым превосходством прозвучал густой, самоуверенный голос.

– Нет, писать – это ваше, – ответил совсем другой, негромкий и чуть дребезжащий. – А я не автор...

– А кто же, если не секрет?

– Я, – тут голос сделал паузу, словно подбирая нужное, – я – Комментатор.

На этой интересной точке собеседники выдвинулись из своего укрытия и увидели меня. Первым вышел самоуверенный тип в дорогом кожаном пальто, красном шарфе с кричащим лейблом – холеный, седоватый, глаза... Посмотрел я ему в глаза. И тут же всем своим нутром понял: а ведь он сидел. И – не пятнадцать суток за хулиганку, а основательно гостил у хозяина. Он мельком на меня глянул и – тоже признал; а я стоял, как дурак, с нелепым кульком в руках; он усмехнулся, едва заметно кивнул, повернулся к продавцу:

– Ладно, Владимир Мингьярович, я пойду, пожалуй, из редакции вам позвоню.

– Хорошо-хорошо, – улыбаясь, ответил тот, – удачи вам.

Тип в шарфике вышел, и Владимир Мингьярович, продавец антикварной лавки повернулся ко мне.

Полностью выбритый череп, какая-то потертая блуза (художник?), правой рукой перебирает деревянные четки (я видел почти такие же, только мельче, у чеченцев). Ростом он был невысок – чуть не на голову ниже меня. Возраст – под пятьдесят? Меньше? Непонятно. Глаза узкие – киргиз? Казах? Возле правого уха шрам. Вот с кем на дело идти нельзя категорически – не человек, а сплошь особые приметы. Внезапно дошло, что не только сам неприлично пристально разглядываю киргиза (или все-таки казаха?), но и он смотрит на меня в упор, и выражение лица у него...

Странное, как минимум, для первой встречи. В глубине зрачков изумление – потрясение даже; внимание, недоверие – то, что обозначается обычно словами «не может быть!» – и тут же – готовность признать это невероятное и согласиться с ним. Узнал меня? Вряд ли – мы никогда не встречались. Или..? Да нет, точно – не встречались, я бы запомнил. Но – на всякий случай осторожно уточнил:

– Мы с вами где-то виделись?

Он улыбнулся; на секунду прикрыл глаза – будто смигнул необъяснимое, спокойно ответил:

– Да, возможно. Я, по-моему, видел вас в офисе у Константина Киприадиса? Нет?

– Ну, вообще да, я там работаю. Вы – Владимир Мингьярович?

– Угадали, – он протянул руку. – А вас как зовут?

– Горелов Борис Николаевич, – в тон ему назвался и я. – Директор... дирекции...

Я замолчал, вновь вспомнив ублюдка из кабинета Киприадиса.

Мингьярович посмотрел внимательнее, сказал вдруг:

– У основателя одной из самых известных в мире семей – Козимо Медичи – был официальный титул «отец Отечества». Тоже странновато звучит, согласны?

Мне понравилось это вопросительное «согласны?» – он точно подставлял следующую ступеньку к разговору, протягивал крючок, чтобы надеть на него рыбку-ответ.

– Да, наверное, – осторожно сказал я, надевая рыбку. И вдруг спросил – очень уж хотелось проверить свою догадку: – Владимир Мингьярович, а кто этот человек, с которым вы говорили?

– О, это известный человек, – ответил продавец-Комментатор. Мне показалось – или все же в его тоне мелькнуло пренебрежение? – Обозреватель одной радиостанции.

– Он ведь сидел?

Вопрос, разумеется, был наглым – но он ответил.

– Да. А почему вы спрашиваете?

– Хотел проверить, – сказал я. – Выходит, угадал.

– Да, – он кивнул головой. – Угадали. Но, видите ли, в нашей стране, согласно статистике, отсидели почти семьдесят процентов населения. И – поверьте – среди эзков было немало умнейших людей...

Я слышал об этом. Еще в первую мою отсидку – в Краслаге – рассказывали о «режиссере Сереже»: его посадили за «изнасилование члена КПСС»; о поэтах, писателях; один из них так достал лагерное начальство постоянными письменными жалобами на «нарушения социалистической законности», что его отправили за границу. Тюрьма любит легенды. «На стене тюремной сердце и стрела, горькая легенда до меня дошла»... Лично я заинтересовался только одной. Рассказывали, будто бы, скрываясь под чужими именами, бедовала в лагере до самой смерти Фанни Каплан, погубленная пролетарской бдительностью...

Некоторое время Комментатор молча смотрел на меня. Потом – словно задернув шторку фотоаппарата – чуть прикрыл глаза, улыбнулся:

– Заболтались мы с вами, Борис Николаевич!

– Можно просто Борис, – поспешно перебил я.

– Хорошо, Борис, – легко согласился он. – Вы мне кое-что привезли как будто...

– Да, конечно, – я протянул ему пакет, он взял его – бережно. Еще раз взглянул на меня – с пристальным, пронзительным вниманием. Не выпуская из рук сверток, спросил:

– Борис, а вы перед тем, как в Фонд устроиться, где работали? Если не секрет, конечно...

– Не секрет. Лыжи вострил.

Он поднял бровь:

– Извините?

Я объяснил:

– Сидел я, Владимир Мингярович. В лагере был. Работал на тамошнем производстве – лыжи мы делали.

– Вот оно что, – с каким-то странным пониманием протянул Комментатор.

– А вы почему интересуетесь?

– Да так, знаете, что-то в вашем лице показалось мне...

– Уголовное?

– Нет, напротив. Я бы сказал – драматическое. Что-то есть в ваших чертах... На литературного героя похожи...

– Это запросто, – отозвался я. – Даже знаю, на какого. Бармалей Чуковского.

Комментатор рассмеялся:

– Почему Бармалей?

– А я в детстве жил на Бармалеевой улице – это в Харькове...

– Да вы что! Там есть такая улица?

– Есть. Говорят, раньше там жил англичанин – Бромлей какой-то.

– Англичанин... И – тяжелые лондонские туманы? И – мосты над Темзой?

– Это вы о чем? – не понял я.

– Да так, – улыбнулся он. – Ассоциации. Англичанин... Лондон... Туман... Темза...

– А-а-а, – протянул я. – У меня они другие. Чуковский, стихи, детство, как я рад, что поеду в Ленинград – а потом драка в школе и родителей к директору.

– Ух ты, какая цепочка, – удивился Комментатор. – До Ленинграда – все понятно, а – потом?

– А я, знаете, был настолько уверен, что Бармалей – это реальный персонаж, который жил на нашей улице, в моем доме с решетками, а потом уехал в Ленинград, что доказывал это до хрипоты. Во дворе пацаны верили. А в школе начали смеяться. Пришлось... защищать свою точку зрения...

Владимир Мингьярович искренне расхохотался:

– Борис, если нам еще доведется встретиться, обязательно подарю вам старое издание Чуковского. С первыми рисунками. Чтобы вы наконец познакомились с вашим Бармалеем поближе.

Он замолчал. Я попросил разрешения посмотреть книги.

И правда хотел глянуть – но была и еще одна мысль. Мне почему-то приспичило узнать – что же такое я привез этому Комментатору от Киприадиса? Что могло быть внутри? Может, он все же откроет сверток – надо просто чуть подождать?

Но он убрал его, не распаковав, куда-то в прилавок.

Книги стояли на полках, как попало – иногда тесно прижавшись одна к другой, иногда развалившись привольно, чуть приоткрыв страницы, заманивая. Я аккуратно перебирал толстые и тонкие томики, разглядывал корешки и обрезы – встречались золотые и серебряные – читал, где мог, названия. Из всего, что увидел, заинтересовал меня только старый, 1903 года издания «Граф Монте-Кристо» на русском языке – и то исключительно с точки зрения внешней красоты: темно-синяя кожа на обложке, удивительные иллюстрации. Книгу я читал; ее все эки читают – и все на первом сроке.

Потом мы пили чай. Чай у него был странный – светло-желтый, без сахара, вкусом больше напоминавший какую-то траву, вроде смородиновых листьев или чабреца – но вкусный. Он рассказывал о себе, но немного. Оказалось, не киргиз и не казах, а китаец, но в Москве живет с детства, поэтому по-русски говорит хорошо, без всякого акцента.

Я вспоминал тоже – почему-то все время Харьков; мой дом – двадцать первый по Бармалеевой, с решетками на балконах и маскаронами в виде львиных морд. Вспоминал пересечение Рымарской и Бурлацкого спуска, где берет начало Университетская улица...

Комментатор слушал внимательно, с интересом, переспрашивал, уточнял; очень понравилось ему происхождение еще одного названия – района Москалевка: не от «москалей» вовсе, как считали некоторые, а – от двух еврейских имен – Моська и Левка. Район был воровским; пока отцу – главному инженеру фабрики «Красный водник» – не выделили квартиру, мы жили там; сосед дядя Паша был маминым любимцем – культурный, сразу видно, – говорила она до того самого дня, как бабка-горбунья из второго дома не объяснила, кто он такой и чем занимается. После этого мать, потрясенная до глубины души, запретила мне ходить к дяде Паше в гости, а сама здоровалась с ним сквозь зубы. Я-то, конечно, быстро наплевал на ее наказания и поучения – и почти каждый день после школы бежал первым делом к нему: там был телевизор, всегда полно вкусной еды; там я научился играть в карты...

Так и сидели – почти по-семейному; посетителей не было – и тут я снова услышал это...

Опять – ту же самую уродливую музыку без мелодии; странно, что я ее узнал. Но ведь узнал, это точно была она, доносилась из соседнего отсека. Наверное, я вздрогнул, потому что Комментатор оборвал свою фразу на середине, взглянул на меня внимательно, сказал:

– Что, пробирает?

– Да, жутковато, – признался я. – Что за музыка, не знаете?

– Альфред Шнитке, Concerto Grosso. – Тут он, видно, понял, что надо попроще, пояснил: – Первый концерт.

Я почему-то почувствовал облегчение: факт, что у терзающих скрипачек был автор и название, странно успокоил. Объяснять ничего не стал – но Мингьярович меня понял: не спрашивал, не смотрел, молча допивал свой чай.

В лавку вошел тощий студент в наушниках, за ним – дама с болонкой на руках. Владимир Мингьярович поднялся им навстречу – показывать, улыбаться, продавать. Я попрощался и вышел. Жаль, не получилось все-таки посмотреть, что в свертке...

Захотелось пройтись. Поколебавшись с минуту, отправился по Крымскому мосту пешком. Где-то на середине замер: стоял, глядя то на мультяшный Кремль, то вниз, на воду; а то

рассматривал первые пламенеющие листки, что, покачиваясь в своем меланхоличном принятии смерти, сами стремятся под ноги.

Я простоял на мосту сорок минут – без сожалений, беспокойства, без мыслей; я почти растворился в прозрачном воздухе, в слабых позывных прохладного ветра; ощущал себя разлитым в гудящей и движущейся всеобщности – я был опорой моста и черной лужей в асфальте, был теплым лучом солнца и густой шапкой наползающей дымки.

Откуда вдруг появился он – холодный, мокрый, кашляющий – густой, совсем не московский даже туман? Я потряс головой, протер глаза, захотелось вынырнуть в прежнее прозрачно-осеннее... Мутновато-белая пелена послушно уходила, опускалась вниз – к земле, к ногам. Вокруг плодилось новые звуки, чужие краски – я больше не узнавал свой мир. Мост остался мостом – так ли? По обе его стороны лепились теперь деревянные дома, лавки, лачуги; наверху, над головой, встречались их крыши; пахло всем на свете – рыбой, мясом, овощами...

И была ночь...

...И ночь вдруг пронзит новый выкрик: «Король умер!». И зайдет хохот, отзовется рядом: «Да здравствует король!»; где-то опять – в который уж раз за последние полчаса – затянут одну и ту же песню; с верхнего этажа выплеснут на улицу помои; а рядом из открытого окна донесется ожесточенная ругань: хозяин, сдающий чердак желающему поглядеть на завтрашний въезд Его Величества, заломил чересчур высокую цену...

Люди, живущие здесь, на Лондонском мосту, – особый народ; даже говор у них иной. Они привыкли смотреть на свой мост как на отдельный город, истинное сердце Англии; мне приходилось слышать, что считают они Лондон и Саутворк не более, чем пригородами. Обитатели моста составляют корпорацию; здесь, на одной улице длиной в пятую часть мили, каждый знает все о каждом; здесь существует своя аристократия – почтенные старинные роды пекарей, мясников, по шестьсот лет торгующих в одной лавке; население здешнее спесиво и невежественно; они, кажется, воображают, что нескончаемое шествие, что движется через мост день и ночь, гул криков, ржание коней, мычание коров и вечный топот – единственная в мире ценность. И они – хозяева, единые владельцы этой ценности; оно и понятно – нет в Лондоне другого места, откуда было бы лучше видно любое торжество – будь то въезд короля в город или зрелище...

...Внизу, на Темзе, то же веселье: переговариваются и смеются в лодках, громко восхваляя нового владыку Англии. Пройдет мимо городская стража, расталкивая гомонящую толпу; не обращая внимания на завязавшуюся драку; простоволосая беременная баба потащит упирающегося пьяного муженька домой, а он заплетающимся языком говорит, что сына должно назвать Генрихом – никак иначе. В таверне какой-то оборвыш, вообразивший, как видно себя менестрелем, нараспев читает стихи собственного сочинения – все о том, какой прекрасной станет жизнь при новом короле, Генрихе VIII...

Мне тоже вдруг станет весело; точно карнавал закружит в голове мысли, заставит слова сложиться в рифмы; и я произнесу первую строчку вслух: День этот – рабства конец, Этот день – и начало свободы; Он и печали предел – радость с него началась...

И я поспею домой – завершить то, что начал так удачно; сложить стихотворную оду новому царствованию, которое – верю в это всем сердцем – ознаменуется добрыми и славными деяниями, подарит Англии восходящее солнце свободы и непременно затмит ужасы прежнего...

И, точно в ответ на мои чаяния, вдруг сверху, с одной из опор моста упадет и покажется полуразложившаяся голова. Дай Господь, чтобы отныне Лондонский мост не использовался больше для демонстрации казненных, для устрашения непокорных...

Я подниму глаза – и увижу отсюда, как на той стороне возвышается башня Белого Тауэра...

... – Эй, ты, смотри, куда прешь!

Я вздрогнул. Очнулся. Злобный лысый мужик уже бежал дальше – кажется, я нечаянно его толкнул...

Я – на мосту. На Крымском мосту. Туман пропал, Кремль на месте, до метро – пилить и пилить. Холодно.

Интересное ощущение. Такого со мной еще не было. Глюк – без винта. Да какой подробный! И – вот что еще: я был точно и внутри, и снаружи одновременно. На Лондонском мосту. Видел, как соскочила с какого-то кола распухшая, синяя с высунутым языком голова. Фу, мерзость! Потом – Тауэр.

Тауэр. Пятый класс, английский язык. Сейчас – музей; когда-то – тюрьма.

Это все Комментатор.

«Туман... Лондон...».

Навеяло, блин...

Глава 3. Предательство Октябрь 1994 года

Месяц выдался богатым на события – правда, не мои, а исторические. Три дня назад опять уронили рубль – курс рухнул сразу на штуку. Первым делом мероприятие обозвали. «Черный вторник»... Ну, что ж... Оптимистичнее, чем «кровавое воскресенье». Броское название вроде как одомашнило катастрофу. Люди как будто утешались, находили в двух простых словах моральную компенсацию; по-моему, даже отставки (министра финансов и какого-то еще министра) не вызвали подобающего ажиотажа. Позавчера специально купил шесть разных газет, проверил: точно, про «черный вторник» написали все. Три – в заголовках.

Странная вещь – время. Раньше думал, как учили: поступательное движение. Камень, пущенный из рогатки: пульнешь – и летит. А на самом деле – гоняет оно по кругу, как мальчишка на велосипеде в маленьком дворике. «Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте десять миллионов». Ильф и Петров. Чем не «черный вторник»? Меня, к счастью, вторник не задел – только что полученная зарплата лежала зелеными бумажками в ящике стола.

У ларька возле дома выстроилась очередь – не потому что всем вдруг понадобились сигареты и жвачка – просто покупатель начал обсуждать вторник с продавщицей, подключился другой, а потом третий; короче, поход за «Мальборо» грозил перерасти в митинг. Я плюнул, отошел и поймал такси; был уверен, что в метро сегодня ехать не стоит – обязательно придется выслушать все то же, с незначительными отклонениями и неразнообразным матом.

Шофер попался молчаливый – большая удача. Только вот ехали недолго: оказалось, Тверская перекрыта – студенческая демонстрация. Водила злобно рявкнул что-то про мать, принялся выкручивать руль – я остановил его, дал денег, отпустил – и пошел пешком. Толпу молодняка увидел сразу. Демонстрацией их, конечно, назвали сгоряча; народу – чуть. Такое ощущение, что пришли бухнуть вместе.

Время снова нарезало круг, булькнув из глубины забытыми плакатами «Долой капитализм!», «Капитализм – дерьмо». Видно было, что сильно не парились, просто – хотелось, как в городе-герое Париже: радикализм, анархия, свободная любовь... Громко переговариваясь, «демонстранты» несли чучело из соломы в красном пиджаке. Эту деталь захотелось прояснить. Я окликнул их:

– Ребят, а почему пиджак красный?

– Он не красный. Он малиновый, – отозвался парень с длинными волосами, собранными в аккуратный пучок.

А, понял. В смысле – новый русский... .

Какое-то время я шел рядом. Орала музыка про «шар цвета хаки». Кто-то, заболтавшись, налетел на жоака с чучелом. В общей свалке оно легко рассыпалось. Стали собирать. Помог. Подарил собранному «буржую» в пиджаке значок «Хочешь похудеть – спроси меня, как». Потом разошлись: они – сжигать буржуя, а я – на него работать.

– Боря, ты не мог бы мне помочь? – Киприадис начал с места в карьер, даже не поздоровался. Выглядел он странно: правый рукав пиджака в пыли, галстук сбился набок, выражение лица – озабоченное...

– Конечно, Константин Сергеич, – отозвался я. – Что нужно сделать?

Оказалось – ничего героического: всего лишь отвезти очередной пакет на Рижский вокзал и оставить в камере хранения. Честно говоря, я пожалел, что пункт назначения поменялся –

прошел месяц с того дня, как познакомился я с китайцем-Комментатором, и меня преследовало чувство, что мы недоговорили тогда, что не расслышал я (или – не спросил) что-то важное. Больше всего хотелось поговорить с ним о лондонской тюрьме и тех ощущениях, что не мог я списать на винтовой приход.

На этот раз пакет оказался куда тяжелее и больше; но я утешал себя мыслью: на вокзале обязательно вскрою его и выясню, что за ценный груз доверяет мне Киприадис. В метро было на удивление малоллюдно; сел в углу, достал книгу. Оруэлл, «Скотный двор». Помню, время от времени отрывался от текста и пытался найти в окружающих людях черты героев: вот этот, с тупой обреченностью в глазах, похож на Коня-работягу; эта – с толстыми ляжками, нахально выставленными напоказ, – Овца; а вот уткнулась в газетный обрывок коза Мюриэль. Вспомнил и давешнего визитера фонда – того самого, что приходил к Киприадису и так сильно задел меня своим «директор дирекции» – вылитый боров Визгун, свинья-работник интеллектуального труда.

Рижский вокзал. Пронзительный паровозный гудок – «поезд Москва – Рига отправляется с первого пути».

Я прошел к поездам – почему-то казалось, что развернуть пакет надо непременно без свидетелей. Как в воду глядел! Присел на парапет возле платформы – черт, холодно! – слегка поддел ногтем серую бумагу – она поддалась, с мягким хрустом раскрыв хранимое внутри.

И – что? Ничего сверхъестественного. Твердая, кажется, кожаная – обложка. Иностранные буквы. Бумага... Необычная. Желтоватая. Ну, книги... И все?

Разорвал всю обертку целиком; достал то, что скрывалось так тщательно; вновь и вновь рассматривал, листал. Три старинных, с инкрустацией и золотыми обрезками, тома на иностранном языке – по-моему, на латыни, хотя я мог и ошибиться. Я прикасался к обложкам пальцами – шершавая теплая кожа отзывалась чуть слышным шепотом; я переворачивал страницы – и листы, плотные и тонкие, вступали разноголосым речитативом; я открывал книги и вновь закрывал – в глубине переплета рождался слабый свист, словно пытался вдохнуть туберкулезный больной.

И вдруг – понял. Дошло. Книги – да. Непростые книги. Дорогие, видимо, очень старые, ценные. Библиотека Института Маркса-Энгельса. По ходу – еще один источник доходов господина Киприадиса... Досадно стало: ну не парадокс ли? Такой человек... Адекватный, умный вроде... Нормально зарабатывает. А заодно – получается – книжки приворовывает? Пожал плечами, выругался чуть слышно. Три ходки за мной – но примитивной кражей всегда брезговал. Так сказать, – работа, не требующая умственного труда. Тырить библиотечные томики?

И вдруг – руки начали дрожать, на лбу выступил пот.

...«Поезд Москва – Рига отправляется с первого пути»...

Мыслей стало слишком много, каруселью – сперва медленно, потом – все быстрее – завертелось понимание. Пронзительный свет залил мозг: вот оно что! А ведь чувствовал! И – криком, то нараставшим, то затихающим в немоту, веселеньким припевом шлягера выныривало: вор! А потом – давно забытым, спустившимся из прошлого словом – порождением эпохи, находкой бесчисленных «Фитилей»: несун! Кто? Неужели – он, президент фонда, мудрый Каа Константин Киприадис? Да нет, бросьте, разве это похоже на правду? Вор – вот он, один, без всяких там алиби и смягчающих обстоятельств – Горелов, трижды судимый! Взяли с поличным. Пытался спрятать (вариант – вывезти, продать) украденные книги. Те самые, из библиотеки института марксизма-ленинизма; судя по всему, из отдела редкой книги. Доказательства? Какие еще нужны доказательства – вот книги, каждая стоит... сколько, интересно, может стоить каждая? – волчок в голове внезапно остановился, будто наткнувшись на препятствие: а, действительно, сколько стоит такая вот книга? Тысячу долларов? Две? Сорок?

...«Поезд Москва – Рига прибывает на первый путь» – хрипло, с трудом, то ли в морозном воздухе, то ли – сквозь дыру в голове...

Но – меня, меня-то как обули! Он же просто шахматную партию разыграл! И – развел, как последнего лоха, – кого? – Горелова, опытного, между прочим, аферюгу! И – как? Да легко: вы мне нравитесь, Борис Николаевич! такие оригинальные мысли, Борис! Как голова у тебя варит, Боря! Вот и все, достаточно: побежал, как пес, за хозяином, повилял хвостом, послужил, получил сахарок. Я вдруг засмеялся в голос: он ведь даже премию мне выписал – за прошлый раз, когда (теперь-то я понимал!) отвез я ворованные книги в букинистическую лавку Дома художника. Да – а что же тогда Комментатор Мингьярович? Тоже – в доле? Надо бы выяснить в следующий раз... Если он будет...

Горечь вопреки всем законам физики поднималась со дна души вверх, к глотке, наполняла рот слюной. Я попытался вдохнуть поглубже – не вышло; достал сигарету.

...«Поезд Москва – Рига...»... Я вдруг представил себе детский паровозик, который ездит туда-сюда, прибывает все время на один и тот же путь...

Надо для начала успокоиться. Надо признать: был идиотом на идиотской должности. «Директор дирекции». А ведь колобок с рожей пахана, боров Визгун наверняка все знал. Потому и цедил слова, и смотрел так... Как? Как я заслужил – с пренебрежительным интересом: а, вот он, зиц-председатель, который вместо нас на нары пойдет – а он ниче, фактурный.

Тоской сдавило голову. Следующая волна раздумий нахлынула истерическим дамским всхлипом – «за что»? С какой стати? Ведь ни в чем я не был виноват перед господином президентом. Подобрал он меня – и, правда, как пса шелудивого; по шерсти погладил; я, дурак доверчивый, пошел за ним... Даже собаку жалеют сентиментальные читатели прессы – собаку, которую приманивают, чтобы убить вернее – а человек что же? В деталях вспомнил я наше знакомство: внезапный интерес его – как только услышал он заветные эти слова «из мест лишения свободы» – мелькнули, поди, лучом надежды. До этого – наверняка – потел ежесекундно от страха: а ну как поймают? А ну как посадят – его, гения, президента фонда, уважаемого человека? И тут – подарок судьбы: бывший зэк, сам идет в руки, только возьми. Он и взял.

...«Со второго пути отправляется поезд Москва – Великие Луки»... И чего я сижу? Срочно ехать в Великие Луки – может, там найду еще одного Киприадиса...

Книги – дорогой, тяжелый антиквариат – так и лежали у меня на коленях. Пальцы мяли сигарету – зачем? – ах да, я ведь хотел курить. Аккуратно положил три тома обратно в пакет, пощелкал зажигалкой: получилось, затянулся; дрожь чуть отпустила, но с мыслями ничего не мог сделать – муравьиной колонией навалились и бегали внутри черепной коробки, жаля время от времени. Куда теперь, товарищи? Как быть? Или – выражаясь высоким слогом суки-интеллекта Киприадиса – что делать? На минуту мелькнуло: послать его на три, исчезнуть вместе с книгами – пусть до конца оценит гениальность собственного замысла. Тут же, однако, поморщился: мелко, ей-богу. Вполне достойно президента фонда – но не честного вора. Значит – что же? Оставить книги в камере хранения и уйти, ничего не объясняя?

Дальнейшую судьбу книг я представлял прекрасно – как будто сам придумал несложную схему вывоза культурных ценностей. Я оставляю три тома в ячейке – спустя какое-то время их забирает проводник либо проводница поезда: направление, скорей всего, – за граница – и спокойно вывозит. Где-нибудь в Риге – а, может, в Лейпциге – поезд встречает представитель покупателя либо сам покупатель; все: груз сдал – груз принял. Просто.

Да, так что же мне делать? Я встал, выбросил окурочек – и тут увидел их.

Двое. В форме. Идут ко мне. Сердце совершило странный кульбит. Не один раз в жизни моей это было – и никогда, клянусь, никогда я не боялся ареста так, как в эти секунды – потому что знал: не виноват, подставили. Не выпуская из рук черный пакет с тысячами украденных не мной долларов, неторопливо пошел им навстречу. Вот один полез в карман – неужели за стволом?..

– У вас огня не найдется? – мент вытащил из кармана сигарету, вопросительно глянул на меня. Машинально кивнул головой, достал зажигалку. Они прикурили по очереди, вернули мой «Крикет», сказали спасибо.

...Перед тем как сдать книги в камеру хранения, я купил пару газет, упаковал их как следует. Потом спустился в метро...

... – Здравствуй, дорогой, проходи!

Мы обнялись, Алик привычным жестом похлопал меня по спине, помог снять пальто. Странно: когда бы я к ним не приехал, гендиректор торговой фирмы «Терек» Алик Бериев был дома, с женой, детьми и прочими чеченскими родственниками. Когда он работает? Или это я все время так попадаю?

Я огляделся – ничего не изменилось. Восточный базар в московской трешке. Везде ковры: дорожки с розочками на полу, красные ковровые изделия с кистями – на стенах; обои видны были только в коридоре – но лучше бы их вообще не было; тоже с цветастыми разводами, зеленовато-серые; рядом с огромным зеркалом в раме «под бронзу» и большой люстрой «с висюльками» наверху. В зале все та же «чешская стенка» заставленная хрусталем. Над телевизором – морской пейзаж, купленный, по ходу, на Арбате. Еще года три назад я время от времени порывался сказать Алику, что теперь так не носят, и можно уже приобрести что-нибудь поновее. Но не решился, побоялся обидеть.

Он крикнул что-то по-своему жене, Мадине, – она вышла, улыбаясь, поправляя платок на ходу, чуть слышно поздоровалась – и тут же скользнула обратно в комнату.

На шум выскочил пацаненок. Увидев, спрятался за отца, обнял его за ноги и, выглядывая оттуда, как из укрытия, радостно заверещал:

– Гяур пришел! Гяур! Скоро джихад! У вас всех будет железо в голове, на вас дома обрушатся, а вы будете выть и плакать!

Я опешил – так меня здесь не встречали ни разу. Даже Киприадис вылетел из головы. Сказать ничего не успел: Алик поймал отпрыска за ухо, спросил грозно:

– Это что еще такое? Кто научил?

Тот взвизгнул – больно! – потом насутился и пробурчал:

– Так дед говорит...

Алик обреченно кивнул: понятно; отпустил мальчишку.

– Извини, Борь. Деда сюда перевез, а у него с головой плохо совсем...

– Да ладно, плюнь. Нормально все.

– Ты что хочешь кушать, Боря? Плов есть, макароны есть...

– Ничего не хочу, Алик, не голодный. Ты лучше скажи: то, что я оставлял у тебя, – цело?

– Обижаеть, брат, – чуть улыбнувшись, протянул Алик. – Конечно, целое все, на кухне пылится...

Хорошо. Это хорошо, очень. Здесь у Алика накануне прошлого ареста я оставил свою алхимическую лабораторию, свой перегонный куб, баночки-скляночки-колбочки, шприцы и ингредиенты. Будет из чего сварить.

Алик Бериев на самом деле – Али; лишняя буква в конце – уступка столичным партнерам: «Пойми, брат, Али – это как-то... слишком... очень уж... мы же не сможем в мэрии сказать: мол, так звали зятя пророка...».

Поднялся Алик два года назад, в те драматические времена, когда чеченцы и «тверские» делили площадь у Киевского вокзала. Сначала было у него два ларька, потом пять, потом – магазин, второй, четвертый – так и возник гендиректор новой торговой фирмы. Подружи-

лись мы совершенно случайно: ресторан – компания – общие знакомцы – ну, давай на брудершафт. Это уже потом я выяснил, что Алик – золотое дно; вернее, даже не он сам, а его сестра, Амина – детский врач. Рецептурный бланк с четырьмя штампами – или, как у нас говорят, терка с четырьмя колотухами – для винтового главная отправная точка, условие счастья. Я помнил еще времена, когда солутан продавали без рецепта – но тогда он был мне не нужен: вот она, вечная драма несвоевременности.

Сам Алик наркотой вроде не баловался, хотя, по-моему, имел какое-то отношение к героиновой сети – да и не мог не иметь, потому что бизнес этот, в основном, был под чеченцами. Надо мной шутил беззлобно: уверял, что сижу я на винте исключительно потому, что это наркотик для интеллигентов – нравиться он мне, разумеется, не может. Тем не менее, сынок его, четырнадцатилетний пацан, всегда был готов слетать в ближайшую аптеку за солутаном; а Амина безропотно отоваривала меня рецептами; так велел им Алик. У Бериевых можно было переночевать, можно было зайти вмазаться, если негде; у него можно было сварить.

А мне тогда было надо – именно так, по-другому не скажешь: надо было погладить и успокоить вставшую на дыбы душу; надо было выжечь из головы прибором для выжигания суку-Киприадиса; надо было прорыть новые ходы из той кротовой ямы, где я оказался. Поэтому я сразу же направился на кухню, почти ошупью пробираясь по длинному темному коридору – кто это строил, какой урод?

В углу, около окна, – я не сразу заметил его – сидел неподвижно старик, каменно замерев над пустой чашкой, полуприкрыв глаза. Широкие спортивные штаны, длинная фуфайка и вязаный жилет; седые волосы покрывала маленькая тубетейка, руками сжимал он деревянную палку.

– Дед мой, – кивнул Алик. – Совсем плохой. Да ты не обращай внимания, делай то, что надо тебе. Он немного того...

– В смысле? – я покосился на старика: сумасшедшим он вроде не выглядел – скорее, каким-то отрешенным. Коматозник.

– Да сын у него в деле был, менты застрелили. Умер – младший, последний – дядя мой.

– Соболезную, – посочувствовал я. Алик махнул рукой:

– Да я его и не знал почти. Жена осталась и ребенок – дочка, полгода ей.

Я достал с верхних полок свое оборудование, нашел пузырек с солутаном – вроде не испортился...

– А, русская собака! – старик вдруг ожил, раскрыл глаза, голос его зазвучал резко, неожиданно – я чуть шприц не выронил. – Колотья пришел? Глаза себе выколи. Не нужны глаза, раз Аллах не видишь!

Он поднял свою палку, угрожающе ей потряс, произнес длинную фразу на чужом языке – красиво, похоже на стих или песню.

– Это чё сейчас было? – спросил я Алика.

– А, это по-арабски, из Корана.

– Да я понял, что не по-русски. Перевести-то можешь?

Алик прикрыл глаза, вспоминая, и процитировал:

– «Будет между ними вражда.. ээ... и ненависть до дня воскресения. Они зажгут огонь войны – а погасить его сможет один лишь Аллах».

– И что он имел в виду? В смысле – дед? – старик меня заинтересовал; глаза, точно пеплом присыпанные, казалось, смотрели в иной мир – и что-то там видели...

– Слухи у нас ходят... нехорошие. Говорят, через три месяца войска будут вводить. Поэтому наши все, кто знает, вывозят стариков, детей, женщин... Некоторые деньги отправляют туда...

– Какие войска, куда? Что за бред, Алик? Ты начал верить газетам, что ли?...

– Да нет, не бред, – покачал головой Алик. – Там плохо сейчас все. Дудаев хочет суверенитет, ему не дают. А оружия много...

– Умм аль-китаб под престолом Аллаха, и только он стирает, что желает, – снова заговорил старик, вставляя иностранные слова. – Мусе-таурат, Дауду – Забур, Исе ибн Мариам – Инджиль. Люди Книги! Не будет у вас на земле опоры, кроме Торы, Евангелия и того, что вам ниспослано от вашего Владыки...

– Что еще за «люди Книги»?

– Людями Книги в Коране называют иудеев и христиан, – пояснил Алик. – Потому что у них были Писания, в отличие от язычников.

Дед вновь быстро глянул на меня. Похлопал ладонью по толстому томику, что лежал у него под рукой. Коран – ага. И снова заговорил:

– Все записано в книге. А книга – на небесах. И ни одной черты уже не сотрешь в ней.

– Так дед какую книгу имеет в виду? – вновь обратился я к Алику. – Тору или Евангелие? В какой из этих книг все записано?

– Аллах его разберет, – с досадой отозвался Алик. – Коран тоже называется Книгой...

– У каждого – своя книга, – сказал дед. Теперь он смотрел на меня в упор. – И на Страшный суд каждый придет со своей Книгой. А ты, – он обращался теперь ко мне, – придешь к Аллаху вот с этим, – тут дед поддел мой пиджак – и из внутреннего кармана выпала пухлая записная книжка – мое все, самый нужный справочник, Коран и Талмуд наркомана.

Алик вздохнул:

– Пойдем, дед, в комнату, – он, почти взяв старика под мышки, потянул его к двери. – Пойдем, посидишь там, отдохнешь.

Старик покорно пошаркал за ним – у порога резко остановился и, подняв свою палку, закричал:

– Вот с этой книгой ты и пойдешь на Суд. Вот она – твоя книга.

Алик вздохнул еще раз, легонько подтолкнул его. Ушли. Теперь можно было заняться делом. Спустя полчаса я наполнил шприц, перетянул резиновым шнуром плечо. На кухню вернулся Алик.

– Ты сейчас опять гулять уйдешь? – улыбаясь, спросил он.

– Да, наверное. Только чуть у тебя посижу сначала – ладно?

– Что за разговор, Боря, – сказал Алик. – Оставайся хоть навсегда.

Поршень скользнул вниз; а вот и она – первая волна прихода.

Потом возникло оживление; я разговорился. Долго и увлеченно беседовал о чем-то с Аликом; вспомнил о своем странном глюке.

– Таур, блин. Тюрьма средневековая. Представляешь?

– Не знаю, как на винте, – задумчиво проговорил Алик, – но про героин говорят, что будто бы после укола душа может путешествовать в свои прошлые жизни...

Нормально. То есть – что же получается? Я и в прошлой жизни сидел? Думать не хотелось.

Потом – не выдержал – и рассказал Алику про Киприадиса – как безбожно подставил меня президент фонда. Ну, хорошо, – не подставил, не успел – но ведь пытался! Алик слушал меня внимательно, хотя за окном вроде уже светало. Закончились наши посиделки неожиданно.

– Слушай, Боря, – веско сказал Алик, – давай завязывай ты с этим шакалом. Пойдешь ко мне в фирму на работу. Больших денег сразу не обещаю, зато – никто тебя не обманет. Согласен?

Я сказал твердое «да», протянул ему руку. Алик продиктовал мне номер своего факса – теперь все у них официально, через отдел кадров, так что надо будет сбросить резюме.

Пульсом новой жизни забились чудесные эти слова: «сбросить резюме по факсу». Очень по-деловому звучали они, знаменуя конец сомнительного «директорства» в сомнительном фонде.

Глава 4. Борьба против бога Октябрь 1994 года

Я вышел от Алика рано утром – едва начало светать. Свинцовым зонтом раскрылось небо; темное, тяжелое, круглое; крышкой накрыло город – котел, где никогда не остывало человеческое варево, чуть подрагивая ночью и утром, закипая днем, к вечеру достигая наибольшего градуса, время от времени выплескиваясь нежданным ликованием или неумной болью. Уже распахивались двери магазинов и окошки комков; появлялись на улице люди: суетливо, иногда спотыкаясь, бежали к метро; сосредоточенно счищали со своих автомобилей опавшие листья; задыхаясь под тяжестью пальто и курток, несли домой молоко и хлеб. Это – Перово; до Садового кольца еще не добежала жизненная волна; пока просыпаются окраины и потоками машин, составами метро устремляются – неизбежно, центростремительно – в самую сердцевину воронки, туда, где мегаполис становится Москвой.

Головокружительный омут, черная вода – отразит разве что тень твою; и то – если не скользнет ветер, сдувая гладкость амальгамы, рождая рябь и путаницу, – вот она, Москва. Цыганка, гадающая по руке: то ли правду скажет, то ли наврет с три короба – все одно: замрешь, заслушаешься, отдашь последний пятак – и это Москва. Червонец в луже – нагнись, достань. Рекламный щит под церковным куполом: скидка, распродажа, сэйл. И все же – Москва, Москва, Москва. Лучший город земли; каменные джунгли; большая деревня; государство в государстве; выгребная яма – любая, какая хочешь, называй. Город-ответ – спрашивай. Город-ребус – угадывай. Город-враг – сражайся.

Хуже всего в Москве тем, кто остался в столице жить, но полюбить так и не смог. Все бабье, что есть в потаенной ее глубине, истерикой отзовется на раздражение и неприязнь; вечными женскими уколами отомстит; не даст прозябать нормально. Я никогда не понимал таких людей, потому что любил Москву и чувствовал ее: как и во мне, билась в ней авантюрная жилка, разливался размашистый кураж, отказывали тормоза. Для меня была она – колода карт: можно вытащить джокера, а можно – пиковый валет, пустые хлопоты; порой подмигнет дама треф, а то щелкнет наручниками казенный дом.

Тогда, в конце холодного октября, Москва подталкивала – давай, иди; одобряла, похлопывала по плечу; но тут же пророчила тяжелым небом, предупреждала ледяной моросью. Я умел читать ее знаки и тревожно ловил надвигающиеся перемены – нервами, ключицами, спинным мозгом. Пока шел к метро, план в голове оформился окончательно: сначала двину в рожу, потом скажу: «Я увольняюсь». Или лучше наоборот: сначала скажу, а потом – в рожу. И – адье, мерзавец. Ищи себе другого «директора дирекции».

Странно: восемь утра, но нет давки. Подземка, где люди? Трое полусонных бедолаг на перроне. Может, апокалипсис случился, пока я ширялся у Алика? Машинально глянул на часы: дата, время. Да ведь сегодня суббота, выходной... «Дать в рожу» срывалось. Ладно, за два дня не остыну. Значит, сейчас – домой.

На выходе из метро заглянул в комок, спросил пачку сигарет и шоколадку. Тетка протянула сдачу, зачем-то – жвачку. Спросил, ответила – бери, мол, подарок. Мне частенько дарят всякие мелочи – не знаю, почему; продавщицы разного возраста – просто мой фанклуб: заговаривают, улыбаются, рассказывают разное, жалуются...

Однокомнатную квартиру на площади Ильича я снял недавно – до этого была почти такая же, разве что подешевле, на Ленинградке, недалеко от Динамо – но там было мне неуютно, район не нравился; да и соседи сверху все время скандалили.

Съемные квартиры удивительно похожи друг на друга: диван, шкаф, дешевый гарнитур в кухне, стол-табуретки-холодильник, иногда бонус – телевизор. Его я сразу и включил: смотреть не собирался, просто тишина давила, надо было срочно ее заткнуть.

Видно, неправильный вчера был винт, нехороший. Я как-то описывал винт одному студенту: приход похож на захватывающий широкоэкранный кинофильм с качественным звуком и яркими цветами; когда же наступает отходняк, кажется, что тебе подсунули старый черно-белый телевизор с помехами и хрипом. Поэтому слезть с винта почти невозможно. Поэтому так часто шагают винтовые из окон или ныряют в петлю. Поэтому садись на винт не после первого укола, а в тот момент, когда решаешь попробовать.

Ящик рушился от новостей – слушать не стал, пошел сразу в душ. Думал – полегчает; нет – жгло изнутри какое-то беспокойство. Трижды пытался заварить чай – и забывал, зачем держу в руках пакетик с заваркой, застывал на середине кухни, глядя в пустоту и без конца перебирая в голове одно и то же: Киприадис-фонд-резюме-по факсу. В конце концов, понял, что дома сидеть не смогу. Одежда; ключи от кабинета в кармане. Дал же бог имечко – Вильгельм Пик.

В здании бывшего института марксизма-ленинизма было пусто; одинокий охранник – кажется, Ваня, – тянул из пачки кефир; мне обрадовался, пригласил сыграть в нарды. Я пообещал, но позже, когда освобожусь – и открыл кабинет.

Что такое резюме и как оно пишется, я знал – видел несколько раз на столе у Киприадиса. А потому для начала сел, нарисовал табличку. Вдруг стало весело – никогда не писал автобиографию под винтом. Все, как полагается, – образование, опыт работы, даже хобби не забыл.

Итак, погнали. Горелов Борис. Тридцать восемь лет. Образование, специальность... Образование... Незаконченное высшее... Плюс полный курс тюремных университетов. Профессия. Аферист. Или – мошенник? Директор дирекции. Смешно. Не забыть три судимости. Собственно, почему я должен это писать? Хобби – легко: наркотики. Ха! Тридцать восемь... Три судимости... Наркотики... Идеальное резюме для воровского схода... Черт бы побрал этого Алика вместе с его резюме и факсом!

Вот она, жизнь. Вся уместилась – на осьмушке листа. Спасибо, господин Горелов, за прекрасную биографию, за «светлый путь». Может, Киприадис проводит до тюрьмы, обнимет на прощанье, слезу прольет...

Окна в табличке блудливо ухмыльнулись. Нагло подмигнул стеклянными дверцами шкаф, показал мое отражение: вот он, Горелов, Борис, тридцать восемь, худое лицо, выбритый подбородок, волосы черные, несколько седых, глаза черные, пустые, безумные.

Наркоман... Аферист... Мошенник... Тридцать восемь... Три судимости...

Новенький блестящий дырокол оскалился – я ударил по нему рукой, он отскочил в сторону – ага, испугался, скотина! Потом почудился тихий щелчок – посмотрел: черный факсовый аппарат... Включился – и туда же «три судимости»...

...Специальность... Образование... Что писать? Аферист? И не забыть три судимости...

Вскочил, схватил стул. Бросил – стеклянные дверцы обрушились на пол – вместе с осколками: в каждом был я – Горелов, тридцать восемь, три судимости, мошенник, наркоман. Прислонился к стене – она оттолкнула меня. Бросился к окну, распахнул – ледяной ветер прыгнул на стол, схватил белые листы, уронил их на пол. Вон оно – резюме: пробует отползти под шкаф, надеется спрятаться. Хрен тебе, ясно? Вырывалось, ускользало – а я поймал! Вот же тебе – пополам! И – еще пополам! Кусочки становились меньше, меньше. В распахнутое окно отправился дырокол – грязно-серый, с вечно разинутой смеющейся пастью. Вслед за ним выбросился факс. Все. Резюме отправлено по факсу. Как договаривались...

...Опомнился. Увидел. На руке кровь. Откуда? А, поранился, – весь пол в осколках. Выглянул, посмотрел вниз – да, факс, валяется, разбитый. Бред. Винтовой бред. В комнате царил полный бардак – когда это я успел? За окном быстро темнело.

Что же будет? Что? А вот что – я уйду. Начну сначала. Знать бы, где оно. Три судимости – виноват, простите. Но ведь китаец-Комментатор сказал, что в нашей стране почти все сидели, а тот, второй, который с ним разговаривал, холеный обозреватель, тоже зону топтал,

а поднялся, раскрутился, известный человек... И я смогу. Смогу. Сойду с поводка – уволюсь; дальше – либо к Алику, либо... не знаю.

Я стоял на берегу – меня захлестывало с головой. Да, решено. Новую жизнь. И – сейчас, прямо сейчас, не буду откладывать. Сделаю... что? Да хоть что-то... Чего не делал раньше... Во! Полы вымою. Нужно все стереть. Смыть – дочиста. Тряпка. Нужна тряпка. И швабра. И ведро.

Длинный коридор, темнота. Охранник (Ваня? Или Вася?) окликнул меня, но я махнул рукой: отстань, не до тебя, двинулся вдоль стены искать каптерку. Где-то же должно быть подсобное помещение с тряпками, швабрами, ведрами... В моем институте было такое. О – вот оно! Маленькая невзрачная дверь – она почти потерялась рядом с остальными – высокими, солидными, с номерами. Закрыта. Ничего, не проблема; я достал маленький перочинный ножик (всегда носил с собой – мало ли!); аккуратно свинтил замок. Открыл дверь, нащупал выключатель, вошел. Включил свет...

Остолбенел.

Вот и она, кормушка Киприадиса.

Судя по всему, был это какой-то спецхран. Метров пятьдесят в длину; шкафы выстроились рядами, глядя в затылок друг другу. На полках – книги. Такие же точно отвозил я на Рижский вокзал – дорогие. Антикварные. Старые книги в коже, древние тома с какими-то гвоздиками на обложках, книги с тисненными узорами, металлическими накладками и застежками, с золочеными буквами на корешках.

Тусклый свет не справлялся с надвигающимися сумерками; тени удлинялись, напоздали, обнимали уходящие ввысь ступени стеллажей; было удивительно тихо, немножко затхло.

Протянул руку к ближайшему шкафу – вытащил наугад. Большой том, потертый бархат обложки, названия нет – выдавлен какой-то знак; вроде бы дерево... Открыл. Альбом с иллюстрациями – глянец, текста чуть-чуть. Пролистал, споткнувшись о дореволюционные «яти» и «еры». Брейгель, «Слепые». И кто такой Брейгель? А, художник... Хоровод каких-то уродцев: взявшись за руки, шли они то ли в реку, то ли в болото, где уже, задрвав ноги, валялся один...

И вдруг я услышал шум деревьев. Ветер кружил листья, подбрасывал вверх и ронял вниз; сдувал шутовской колпак с безглазого уродца; разрастался вширь, ввысь, обхватывал меня, тащил. Как я очутился здесь? Но – шагнул, приблизился. Слепые повернулись на звук, расцепили руки, двинулись ко мне.

И я побежал. Они не преследовали – просто шли ко мне, я слышал грубое тяжелое дыхание за спинами. Небо становилось все темнее, опускалась ночь, каждый шаг давался с трудом, и слепые догоняли меня. Обессиленный, с колотящимся сердцем, я упал. И тут же почувствовал: лес закончился, лежу на холодных камнях, в темноте. Встал на колени, ощупью пытаюсь распознать пространство: с одной стороны – стена. С другой... Впереди качнулась круглая тень; показался человек. Я прижался к камню, замер. Он прошел совсем рядом – монах, в длинном белом балахоне; капюшон, тоже белый, низко надвинутый, заслонял лицо; в одной руке у него был фонарь, в другой нес он книги. Не заметив меня, проследовал дальше – неспешным шагом, точно знал, куда идет. Я встал и двинулся за ним.

Длинная галерея, справа – ряд дверок: маленькие, просто так не зайдешь – придется нагнуться; в каждой двери – окошко. Возле одного монах задержался, стукнул раз, другой. Окошко приоткрылось – он молча просунул туда книгу и пошел дальше. А я шагнул внутрь.

Камень стен; тоска ноябрьских сумерек; свеча едва рассеивает тьму. Жилая комната? – нет, вроде; а, понял – монашеская келья: в углу – ниша, скамеечка – по ходу, для молитвы; чуть дальше – нары, как есть – нары, с матрасом и простыней. На стене – большое деревянное распятие. Печь, стол, стул. За столом – человек в черном...

...Замкнутые уста есть условие покоя сердца... Я снова вспомню это речение, когда брат Вильгельм стукнет два условленных раза в дверь и протянет книгу. Я здесь, в монастыре, в Чартерхаусе, дабы научиться скромности, христианскому смирению и добродетели; более же всего – пытаюсь остеречься от дьявольских искушений, среди которых самые первые – любострастие и гордыня. Третий день провожу я в полном молчании, как требует того строгий картезианский устав; на смену страху и невольной дрожи приходят здоровое рассуждение, не омраченное порывами грешной души, и глубокий покой. Я привык к бедности своего ложа, и, хотя по утрам по-прежнему ломит все тело, уже могу спать; даже ночная котта мне почти не мешает. Сказано Наставником: одежда нужна тебе, чтобы защититься от холода, а не ради щегольства, также и пища – для утоления голода, а не в угоду чреву. Не потакать собственной плоти – в этом есть мера и мудрость. Башмаки из кожи, которые натирают мне ноги, на Пасху отдадут бедным – и они будут рады обнове; подать бедняку – значит услужить Богу, ведь, по слову Людовика Благочестивого монастырь есть *patrimonia pauperum* – достояние бедных. А расточить и промотать достояние, вверенное монастырям и, соответственно, принадлежащее Богу, значит, сделаться убийцей бедняков; так гласит определение Парижского собора года 537 от Рождества Христова...

...Я вздрогну: в келье холодно; подходит время сна; потом брат-будильщик пройдет по коридорам, созывая к Полунощнице; словно благочестивые тени, неслышно ступая, повлекутся братья в белых и черных одеждах, с куколями, низко опущенными, славить Господа нашего. После надлежит вернуться в свою комнату и снова лечь спать; этот сон – неровный, поделенный надвое общей молитвой, – словно оцепенение духа в тот час, когда в Чистилище ожидает он приговора.

...Я подумую: вот, укрылся я в сем вертограде избранных души от порождаемых городам чудии; ибо ничего нет там такого, что помогало бы человеку вести добрую жизнь, а не заставляло бы его, как раз наоборот, постоянно падать и не толкало бы в пучину всевозможных пороков. Там встречает он на своем пути лицемерную любовь и сладкую, как мед, отраву лести; там жестокая ненависть, вечные раздоры и таскания по судам; там мясники, повара, торговцы рыбой, живностью, пирожники, заботящиеся лишь о том, чтобы наполнить наши желудки!.. Самые дома и те как бы воздвигнуты для того, чтобы лишить нас неба; они своими кровлями ограничивают наш горизонт. Но даже и здесь, в стенах Чартерхауса, сражаюсь я непрерывно с тремя злейшими врагами: миром, дьяволом, плотью. И хотя не жалею никаких сил, пытаюсь карабкаться по отвесным скалам добродетели, ежедневно, ежеминутно ощущаю, как бунтует тело, подстрекаемое Врагом, как предаёт оно бессмертную душу. Пытался я укрощать свою плоть: проводил долгие часы в молитвах, постился, надевал власяницу, но вновь погружался во мрак, точно подталкиваемый непреодолимой силой. Наконец, отчаявшись опереться ногами на твердую стезю добродетели, пришел сюда, к братьям молчания, в картезианскую обитель – сюда, где целомудрие не оскверняется ежесекундно царствующей вокруг похотью, где тишина и смирение нянчат и вскармливают чистоту духа, где существует один лишь вид неутолимого возжеления – возжеление Божественной истины, заключенной в книгах. Не этого ли ордена приор Дом Гильом во время пожара, бушевавшего в Гранд-Шартрез в 1371 году, видя, что с бедствием не справиться, воскликнул: «Отцы мои, Отцы мои, к книгам! к книгам!»... А что есть книга как не дитя одиночества и молчания? Не за тем ли и я пришел сюда, чтобы вытеснить из алчущей души греховные томления, чтобы дать новую пищу разуму, дабы он возобладал над плотской скверной?

...С этими мыслями я наугад открою книгу, и взгляд мой замрет на строчках, которые, конечно же, доводилось читать прежде, но которые вместе с тем только сейчас явят мне всю полноту заключенной в них мысли. «Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему предшествовал только период,

который я провел в утробе матери моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого, Радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Рассказать мне об этом некому: ни отец, ни мать этого не могли: нет здесь ни чуждого опыта, ни собственных воспоминаний»...

...И тут вдруг в дверь постучат; я поднимусь и пойду отворять окошко. И впервые увижу его...

– Открой мне, добрый брат!

...Я открою дверцу своей кельи, не разобрав, кто это, недоумевая, почему монах нарушает строгое правило Устава; а когда он войдет и откинет с головы куколь, рассмотрю его как должно. Не молодой, но и не слишком старый; высокий лоб открывается зальсиной; у него густые брови, большой мясистый нос, губы не узкие и не чересчур широкие, на носу – дужка со стеклами для чтения; усы, борода и виски седые, но глаза – словно у безбородого юноши. В самой глубине прищуренных очей его почудится мне невестная для этих стен веселость; словно взлетающие к небу искры от костра она то гаснет, то вспыхивает вновь. Он проворно повернется, затворит дверь, и продолжит говорить. Я сначала попробую объяснить знаками, что не хочу нарушать правило молчания, но он лишь махнет рукой.

– Не трудись складывать пальцы – я не понимаю знаков. Не бойся меня. Не опасайся. Поговори со мной, добрый брат, послушай, ответь: я старик и порой мне нужен собеседник. И дай-ка мне воды...

Тут я вспомню: да, мне доводилось слышать, что в монастыре живет то ли святой, то ли безумный; ученейший монах; человек глубокого ума и обширных познаний, к которому приходят за советом и помощью простолюдины. Мне известно и его имя — Умберто. Я плесну в кружку воды, подам ему, скажу нерешительно:

– Но, отец мой, Устав требует молчания, я не могу...

– Истина нуждается в сомнении, правила – в нарушении, молчание – в разговоре. Храня молчание, ты теряешь надежду. А разве не за новой надеждой ты пришел сюда, Томас?

Он знает мое имя – но я не удивлен. Он жадно выпьет воду, утрется рукавом рясы. Я попытаюсь объяснить:

– Да, но...

Он перебьет меня:

– Ты ищешь спасения. Ты ищешь противоядия. Ты боишься и хочешь спрятаться от страхов. Но не сможешь, ибо не дано грешному человеку уйти от своих грехов – вечно, вечно он будет к ним возвращаться, точно пес к своей блевотине. И неправда, будто бы могут дать спасение монастырские стены, строгий устав и псалмы. Если ты несешь в обитель заразу, то не добудешь себе выздоровления, но лишь запятнаешь болезнью других. Не с тем ты пришел, нет, не с тем...

Он покачает головой, глядя на меня с укоризной. Спустя несколько секунд молчания я скажу:

– Но как же, отец Умберто? Куда же идти грешнику, как не в дом сынов Господних, где постоянно призывают имя Его в борьбе с искушениями дьявола?

– В мир, Томас, в мир. Там твое сражение будет уместно; там исход битвы неясен – там ты можешь и победить. Но не здесь, где ты неминуемо будешь повержен, ибо неоткуда черпать силы и негде взять оружие.

– Но ведь мир – ядоль скорби, град грехов, выгребная яма, где Зло ежечасно торжествует; там бессилен человек, ибо не может он ничего изменить, и влачит свои жалкие дни в слезах и отчаянии...

– И все же там твое место. Посмотри на себя: что ты делаешь в обители? Не похож ли ты на преступника, который, дабы уберечься от искуса, сам надевает на себя кандалы

и этим только усиливает свою тягу к преступлению? Полуденный бес искушает тебя – вижу; но зачем ты бежишь от него? Зачем хочешь укрыться под куколом? Неужто не найдешь иной дороги, отмеченной нашим Господом и отцами церкви? Разве лучше быть развратным священником, нежели добрым семьянином?

Он взглянет на меня – внимательно, пристально; добрая улыбка тронет глаза, спрячется в бороду. Я не отвечу – я молчу; да и как скажу я ему, почти святому, что не только грех прелюбодеяния страшит меня, что порой ощущаю я в глубинах своего сердца безрадостный смех дьявола – и затыкаю уши, чтобы не сойти с ума... А он продолжит говорить:

– Мир пугает тебя, ты просишь: «Спаси мя, Господи, от пасти львов», – но Господь не поможет отступнику; не пожалеет труса, не спасет малодушного. Не ищи здесь убежища – ибо не за тем приходят в монастырь...

– Но зачем же тогда?

– За Истиной. За Книгой. Приходят чистые душою, обуздав себя, победив грехи; приходят те, кто видел лицо Врага и не убоаяся; приходят, когда побеждены мелкие мирские соблазны, когда сребролюбие, гнев, похоть, зависть уже не властны войти даже в первый придел человеческого духа. Приходят пустые, как эта вот кружка, – и он вверх дном перевернет ее, чтобы показать мне – ничего нет.

– Но ведь сейчас книги есть не только в монастырях, отец Умберто?

– Не книги, Томас, – Книга. Одна. Одна единственная Книга Творения, которую прочесть пытаемся, которую надеемся понять. Но кто-то стасовал, смешал и переиначил слова Книги сильнее, чем позволено...

– Что это значит, отец Умберто?..

Глава 5. Бунт Октябрь 1994 года

...Очнулся не сразу, постепенно осознавая свое тело. Лежал ничком на полу, машинально повторяя «что это значит? Что это значит?» – на разные лады, точно сам себя передразнивал. Время споткнулось; из пустоты и полого молчания вылепилось паузу. Потом опять затикало, пошло привычным ходом. Последним очнулся мозг; прояснил ситуацию – глюк, нормальный винтовой глюк.

Или – нет? Никогда раньше монахов, или священников, или еще каких-нибудь «служителей культа» во время приходов я не видел. Но – не суть. Тот, кого звали Томасом, – он, по моему, не был монахом, а только собирался постричься – так вот, им был я. То есть – видел, слышал и думал – я. Самое же странное, необъяснимое заключалось в том, что снова, как и тогда, после Дома художника, я мог дословно повторить все, что было внутри непонятной галлюцинации. Я помнил.

Что это было? Может быть, сдвинутое винтом, сознание выдало информацию, которой я раньше не знал. Но тогда вопрос – а откуда она взялась? Кто и зачем воткнул меня в сериал про монаха? Мелькнуло вдруг – путешествие во времени. Круто. С детства мечтал.

От запоздалого отходняка стало страшно. Ощущение катастрофы сжало внутренности, паника стиснула сначала желудок, потом горло. Метнулся в угол – ползком, на животе – вывернуло наизнанку. Отдышался. Вытерся. Встал, шатаюсь. И – пришел в себя окончательно.

Сразу решил: про монахов пока думать не буду. Сейчас точно не разберусь; отложу. Надо сосредоточиться на насущном. К примеру, сколько времени? Глянул на часы – оказалось, что галлюцинация заняла всего минут пять. Тоже нелепо как-то, но я махнул рукой: в конце концов, у винта есть и такая особенность – растягивать и комкать время. Тогда, у Татки, я был уверен, что провел в черной дыре пару секунд, а оказалось – всю ночь маялся. А теперь, видимо, наоборот: показалось, что прошло несколько часов, а на деле – ерунда. И хорошо. А то, не дай Бог, прибрел бы охранник (как же его все-таки зовут? Ваня? Или Вася?).

Я двинулся дальше – осматривать и обнюхивать находку, обходить хранилище. Шкафы – в потолок. Стеллажи вдоль стен. В некоторых – закрытые ящики, вроде сейфов. Антиквариат. Раритеты. Ценности. Новодевичье кладбище, для особо отмеченных. Я опять вспомнил Киприадиса. Эксгуматор... Трупоед...

Вот оно. Момент истины, твою мать. Книги...

Деньги – большие, настоящие деньги, запертые в марксистско-ленинском изоляторе.

Вдруг все ушло: затянувшаяся бездеятельность, «академический отпуск», культурный досуг и беседы о вечном. Не быть мне грузчиком... И – хорошо. Правильно. Резюме по факсу обрело новый неожиданный смысл. Три судимости – нормально. Весомо. Я – это я: аферист, мошенник, хобби – наркотики. А помойку оставим – для Киприадисов и Визгунов.

Клад, Клондайк, Эльдorado! Я почувствовал себя ныряльщиком за жемчугом, перед которым вдруг расступилось море. Вот они – раковины. Бери, сколько хочешь...

И – возьму. Проблема оборотных средств решена в полном соответствии с учением Маркса о первоначальном накоплении капитала.

Буду бомбить. В той неотвратимости, с которой раритеты оказались на моем пути, чудилась мне высшая справедливость – а заодно и месть господину президенту фонда, который использовал меня как половую тряпку...

А увольняться-то теперь и ни к чему. Только одно крохотное сомнение червячком копошилось внутри: точно наткнулся я на хранилище не просто, а – благодаря Киприадису. Чувствовал – объяснить не мог; точно не просто так решил взять и сделать деньги на этих книжках,

а подталкивал меня к этому Киприадис, подталкивал тем, что именно так обо мне и думал, именно такое место для меня отвел. Он назвал, дал имя, как Господь, – вор. А я и стал вором.

Посадят обязательно... Хотя... Плюнуть-растереть: нары, по большому счету, не страшней этих полок, так же лежишь, а время идет. Да и – не в первый раз...

Шел вдоль полок, рассматривая книги, иногда – вынимая, пытаюсь прочесть. Были на русском, но выглядели не так впечатляюще, как иностранные.

Вытянул наугад. Ух ты – «Майн Кампф». Самое место для него – в институте марксизма-ленинизма. Хозяева друг друга стоили, хотя и ставили на разных козырей. Книга как книга. Я держал ее в руках и ничего не испытывал, никакого трепета. Вдруг вспомнил – обрывки родительских разговоров на кухне, воспоминания отца, рассказы бабки... Генерал Путканер, Дробицкий яр, Харьков – «восточные ворота»... Вошли в октябре, в управе на Сумской вывесили приказ Путканера – «о выявлении жидовских элементов». И сразу забегали добровольцы. Привыкли доносить... А потом – евреев гнали по Московскому тракту к заводским баракам... Почему-то представил себе эту картину: идут тихо, а из окон – смотрят на них уцелевшие; тайком, боясь, что заметят – и тоже заберут; смотрят – жалостливо, злорадно, с любопытством, а как это – идти на убой? Я всегда был равнодушен к еврейской теме, но мутная эта затаенность, как и тайное ликование: не меня, не меня! – все это было неправильно.

Встряхнулся – во, занесло! А ведь книжка-то наверняка пойдет за хорошую цену; сейчас многие увлекаются... Старая, года тридцать третьего. Взял ее – и еще парочку – с шикарным переплетом. Спрятал под рубаху – вроде не видно. Выключил свет, вышел. Вспомнил деда-чеченца – вот с этими книгами можно и на страшный суд...

– Ну че, Борь, – окликнул Ваня-или-Вася. – Закончил свои дела – нет? Может, в нарды разочек?

– Расставляй, – бросил я на ходу. – Сейчас приду, подмету только в комнате, а то у меня там шкаф упал.

– Вот, блин, не повезло! – посочувствовал Ваня-или-Вася. – А я и то слышу, как там у тебя громыхает, думаю – че за фигня? А это шкаф, оказывается...

Книги я обернул бумагой, спрятал в стол. Прибрал в кабинете, закрыл окно и пошел играть в нарды.

...Вася. Все-таки Вася. Я прямо его спросил: мол, как зовут-то тебя?.. Играл Вася с азартом, с прибаутками, долго гоняя в ладони кубики, по-детски расстраиваясь и радуясь. Радоваться, правда, ему нечасто приходилось – везло мне в эту ночь, феноменально везло, с таким фартом в казино надо было идти, а не сидеть в бывшем Институте марксизма-ленинизма. Пять – шесть: с головы в крайний угол – повезло! Теперь надо две – и рраз! – выпало. Дубль, еще дубль! И все – в тему, ни одного пустого! Васек расстраивался, нервно сжимал кулаки – я вдруг обратил внимание на татуировку у основания большого пальца: паучок. Насекомое как будто шевелило лапками в такт его движениям. Усмехнулся: неужели коллега? По ходу, со всех сторон обложился Киприадис: не повезет со мной, переведет стрелки на охранника. Спросил между делом:

– Где такую красоту сотворили?

Вася замаялся, потер паучка пальцами, ответил:

– Да, это... короче, пацаны знакомые предложили клеевую картинку сделать. Ну, я согласился... А че?

– А то, Вася, – вздохнул я, кидая кубики, – что татуировка эта – воровская. Не знал? Так что поосторожней демонстрируй. По понятиям за такое наказывают.

– Оба на! Борь, а че означает?

– Паук, Вася, означает, что ты уполз от закона. Со статьи спрыгнул. Должен был сесть – а соскочил. Понял?

Вася загрузился, почесал затылок – соображал, видно. Потом проговорил:

- Ну так, Борь, а я почти и это... Ну, типа, в общем, подхожу... Спрыгнул, правда...
- Откуда ты спрыгнул?
- Ну, и от ментов, можно сказать...

Он поерзал в своем кресле, явно готовясь к длинному повествованию.

Мне часто рассказывают истории – настоящие и с фантазиями; почему рассказывают – не знаю – не такой уж я хороший слушатель, могу и пошутить некстати, и перебить на середине; иногда просто хочется рукой махнуть и послать трепача. Еще с первой ходки накрепко прилипла ко мне обязанность жилетки; а в последний раз и вовсе прозвали «Боря-исповедник»...

– Я же не московский сам, – начал Вася, – я с Рязани. Там, короче, когда все завертелось – ну, комки, там, ларьки, разборки, – я только с армии пришел. Ну, куда податься? К ментам – стремно вроде; учиться – можно, а жить тогда на что? Матери зарплату полгода не платили. Ну и, короче, дядька мой меня пристроил к какому-то знакомому своего знакомого – через десятые руки – телком, ну – телохранителем. Хозяин оказался вроде ниче так. Видно, конечно, что бандит, но я-то от этих дел далеко был: он мне так и сказал сразу – твоя, говорит, задача – чисто меня охранять, в разборки не вступать. Ну, короче, охранял. Где-то полгода. Все ровно шло, без напрягов – ну, там пару раз, конечно, съездил с ним на стрелки, но делать ниче не пришлось – стоял, смотрел. Он ко мне хорошо относился, бабок было нормально, платил вовремя, иногда еще и так давал, типа премиальные; а главное – если телок снимал, то всегда мне оставлял. Короче, классный мужик. У него еще любовница была, он ей квартиру купил. Не шикарную, без всяких джакузи – в обычном доме пятиэтажном. Короче, в мае, числа пятнадцатого... нет, погоди... да, пятнадцатого, вечером к ней засобирился. Ну, я отвез его. А там, во дворе, машину поставить негде. Я с обратной стороны дома встал. Тогда уже не очень спокойно все было, че-то против него собиралось. Поэтому я специально предупредил: перед тем, говорю, как из квартиры выйти, сбросьте мне на пейджер, я поднимусь. Чтоб один, в смысле, не ходил. Короче, жду час, два – как обычно. Вдруг слышу – стрельба во дворе. Я, честно говоря, сразу понял, что это его положили. Кинулся туда – только машину увидел. «Девятка» с тонированными стеклами. Ну, и он, в смысле, хозяин, лежит перед дверью – по ходу, когда из подъезда выходил, стрелять начали. Я вот сейчас уже думаю: надо было мне тогда ментов вызвать и ждать их спокойно – ни при чем ведь был. А я, знаешь, струхнул нехило. Думаю: все, хана. Братва мигом виноватого найдет – им ведь и не объяснишь ничего. Короче, свалил поскорому, у друга решил пока перекантоваться. Через три дня, на похоронах, какой-то мудака с миной самодельной под гроб кинулся – четверых ранил, сам с концами. Как я понял, передел новый какой-то начался. А еще через день я узнал, что бабу его тоже мочканули. В общем, надо было ноги делать из этой Рязани, пока жив. Подался в Москву. Здесь по первому объявлению устроился сторожем на какую-то стройку. Но там платили копейки, да и жить в этом вагончике... сам понимаешь. Ходил-ходил, искал чего получше, сюда попал. Нормально, тихо, тепло, платят ровно. Такая, короче, история...

Да уж... «Моя борьба», не иначе... Под копирку, что ли, такие вот истории выдают Васям из Рязани-Тамбова-Владимира и далее везде? Вот он – герой нашего времени. Сидит, кефир пьет. И не парится. Идет, куда скажут... Куда ветром качнуло...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.